

Л. Керцели · МИР ПУШКИНА В ЕГО РИСУНКАХ



*Лариса Керцели*

МИР  
ПУШКИНА  
В ЕГО  
РИСУНКАХ

~~Handwritten text, possibly a title or header, including the word "Handwritten" and "Handwritten".~~

~~Handwritten text, possibly a list or index, including the word "Handwritten" and "Handwritten".~~



~~Handwritten text, possibly a list or index, including the word "Handwritten" and "Handwritten".~~

~~Handwritten text, possibly a list or index, including the word "Handwritten" and "Handwritten".~~

~~Handwritten text, possibly a list or index, including the word "Handwritten" and "Handwritten".~~

~~Handwritten text, possibly a list or index, including the word "Handwritten" and "Handwritten".~~

~~Handwritten text, possibly a list or index, including the word "Handwritten" and "Handwritten".~~

I am very glad to hear  
of your success in the  
study of the  
art of navigation



It is a very  
interesting  
subject  
and I hope  
you will  
continue to  
study it  
with interest

The report  
of the  
committee  
is very  
interesting  
and I hope  
you will  
continue to  
study it  
with interest

The  
committee  
has  
reported  
that  
the  
project  
is  
very  
interesting  
and I hope  
you will  
continue to  
study it  
with interest

*Лариса Керцели*

**МИР  
ПУШКИНА  
В ЕГО  
РИСУНКАХ**



А. С. Пушкин.  
Гравюра Н. Уткина с оригинала О. Кипренского

*Лариса Керцели*

МИР  
ПУШКИНА  
В ЕГО  
РИСУНКАХ

1820-е годы

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
1983

83.3P1  
К36

Художник  
Э. Эрман

**Керцелли Л. Ф.**

**К36** Мир Пушкина в его рисунках: 1820-е годы.—  
М.: Моск. рабочий, 1983.— 192 с., 1 л. ил.

В основе книги — определенные автором пушкинские рисунки — портреты выдающихся его современников и друзей: Адама Мицкевича, С. Г. Волконского, Н. Н. Раевского (сына), А. И. Одоевского, А. С. Грибоедова, П. А. Плетнева, А. П. Ермолова и других. Автор рассказывает и о самих графических автографах Пушкина, и о людях, которых он рисовал.

К 4903010000—073 172—83  
М172(03)—83

**ББК 83.3P1**  
**8 P1**

© Издательство «Московский рабочий», 1983 г.

## ОТ АВТОРА

В основе этой книги — определенные (атрибутированные) автором рисунки Пушкина из его рукописей 1820-х годов (главным образом, 1828—1829 гг.). Не слишком ли этого мало, чтобы называть книгу «Мир Пушкина в его рисунках»? Нет, не мало. И вот почему.

Атрибуция графического автографа Пушкина не сводима к процессу собственно иконографического отождествления и доказательствам его истинности; она непременно включает в себя совершенно особенный труд, позволяющий как бы наблюдать за таинством духовной, творческой работы Мастера, как бы присутствовать при ней, ощущая ее физический ритм — ее паузы и напряжения, подъемы и спады, улавливать («видеть») моменты возникновения ассоциации, образа, мысли, «осязать» протяженность ее во времени. И одно это уже расширяет круг задач исследователя, ставя перед ним вопросы далеко не узкоконкретного характера. Ведь рисунки Пушкина интересны не только собственно своей принадлежностью гениальному поэту и даже не тем, что они всегда дают нам какое-то новое о нем знание, дают возможность увидеть под новым углом зрения факты, вроде бы давно уже нами осмысленные, но в первую очередь они интересны и замечательны тем, что, являясь неотъемлемой частью пушкинского наследия, органически входят в сферу духовных его интересов и поэтических исканий, точнее сказать — своеобразно их отражают.



Исключительное обаяние, притягательность и всевозрастающий успех непрофессиональной в основе своей пушкинской графики давно уже не вызывают ничего удивления, и она как-то само собой обрела статус ценности а priori. Между тем необыкновенная наполненность пушкинского рисунка, удивительная его самодостаточность выводят его как явление за рамки просто рисунка, несущего соответствующую информацию в изобразительном образе. Специальное изучение пушкинской графики в соотношении с его поэтическим творчеством позволяет увидеть нечто такое, что приближает нас к пониманию основного ее секрета — двуединства ее природы. Потому что рисунок Пушкина — это прежде всего рисунок поэта, который, по словам самого Льва Толстого, «думал стихами». Точнее и проще сказать невозможно. Пушкин именно думал стихами. Он думал стихами как поэт и размышлял, вспоминал, порою анализировал, порою шутил или даже сердился своими рисунками как художник.

Однако Пушкин всегда оставался не только поэтом и совсем никогда не был только художником. Замечательный рисовальщик, абсолютно не скованный нормами и условностями цехового профессионализма, он постоянно, на протяжении всей своей жизни сопровождал свою поэтическую (в самом широком значении слова) работу рисунками, запечатлевая на страницах рукописей образы друзей и знакомых, исторических деятелей прошлого и выдающихся современников, литературных кумиров, реализованных и нереализованных персонажей своего литературного творчества. Он рисовал своих близких, любимых, рисовал собственно душевные состояния человека, наконец, рисовал самого себя — себя просто потомка «арапов» Александра Сергеевича Пушкина и себя — Пушкина-художника, Пушкина-

поэта или же Пушкина-отрока, Пушкина-старца, коим, естественно, никогда не был. Но об этом уже необходимо говорить особо, что и является одной из задач настоящей книги.

Как поэт-художник, всегда двуединый в жанре периферийного все-таки для него изобразительного творчества, Пушкин сумел явить миру нечто теоретически как бы невозможное вовсе — он сумел запечатлеть (подсознательно, впрочем, потому что иначе это вряд ли все же было бы осуществимо) в материально-конкретных графических образах самое тайное тайных художника — запечатлеть, зафиксировать самый процесс, механизм художественного мышления. В рисунках поэт часто прикидывал, «примерял» на то или иное реальное лицо или литературный персонаж своего творчества (а часто и на себя самого) некое искомое им состояние, иногда совершенно иной, неожиданный, даже подчас и не антропоморфный образ.

Чрезвычайно интересно в этом плане вспомнить удивительные признания одного из самых высокоодаренных и тонких мастеров художественного слова в русской словесности нашего века Ивана Алексеевича Бунина, записавшего как-то в автобиографических заметках, озаглавленных им «Книга моей жизни»:

«Не раз чувствовал я себя не только прежним собою — ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром...

Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе»<sup>1</sup>.

Исключительно просто, глубоко и необыкновенно точно выраженное в этих словах объяснение специ-

фики творческого сознания художника, его мироощущения и самовыражения как нельзя лучше помогает нам подойти к пониманию психологии пушкинского творчества вообще и графического его наследия в частности. Постигая природу, характер пушкинского рисунка, мы приобщаемся и к миру души его. Мир Пушкина видим мы в его рисунках. И если рассмотренные во временной последовательности и совокупности творческого наследия поэта этого периода представленные в этой книге рисунки его помогут нам сколько-нибудь полнее понять и почувствовать Пушкина — ощутить его духовные и поэтические интересы, его сомнения и провидения, уяснить его роль в движении общественной мысли эпохи, погрузиться в окружающую его нравственную и политическую атмосферу, обозреть, наконец, бесчисленные перипетии многотрудной, трагичной, паразитально полнокровной и яркой жизни его в пору наивысшего расцвета его таланта и личности, — автор будет считать свою задачу выполненной.

Наконец, последнее, на что хотелось бы специально обратить внимание читателя, — это на некую целостность картины внутренней жизни поэта, раскрывающейся нам при изучении его рисунков. В самом деле, даже простой перечень портретов изображенных Пушкиным лиц, ставших предметом рассмотрения и атрибуции на страницах этой книги, с удивительной показательностью и, как принято говорить в таких случаях, наглядностью свидетельствует о «тематической» закономерности пушкинского изобразительного творчества: Грибоедов, Мицкевич, Ермолов, Оленин, Раевский, Волконский, Плетнев, Одоевский... Впечатляющий список, не правда ли? И это всего лишь дополняющая уже известные ранее рисунки портретная галерея из рукописей нескольких лет с такой полнотой представляет нам сфе-

ру разнообразных интересов и связей поэта, сферу всеобъемлющих его творческих устремлений!

«Как можно описывать внешнюю жизнь человека: что он пьет, ест, ходит гулять, когда в человеке есть самое важное — это его духовная жизнь,— заметил как-то Лев Николаевич Толстой.— Описание внешней жизни так не соответствует тому громадному значению, какое имеет в жизни внутренняя работа»<sup>2</sup>. Так вот именно к пониманию «духовной жизни» Пушкина, к постижению механизмов и стимулов его «внутренней работы» приближает нас изучение его уникальных рисунков, отражающих своеобразие его художественного видения и творческой индивидуальности.





*УДИВИТЕЛЬНЫЙ  
АВТОПОРТРЕТ*





**В** наше время, когда интерес к рисункам Пушкина так велик и в среде далеко не профессиональной, когда, в сущности, даже самый интерес этот представляет собою своеобразный феномен нашей культурной жизни, вообще-то и сам по себе заслуживающий внимания специалистов,— странным образом остается все еще не освоенным один очень важный аспект изучения пушкинской графики, который дал бы возможность увидеть в его рисунках дополнительное средство познания «первенствующего поэта русского» как творческой индивидуальности.

В самом деле, под каким только углом зрения и в какой связи не изучаем мы рисунки Пушкина — и в связи с атрибуцией портретов сколько-нибудь близких ему лиц, и для определения круга его знакомств, и для уяснения душевного состояния поэта в разные периоды его жизни. Но ни разу, наверное, до конца последовательно и серьезно не попытались мы увидеть в его рисунках нечто принципиально особенное, что характерно исключительно для его, поэта Александра Пушкина, уникальной в своем художественно-психологическом своеобразии графики и что таит в себе главный секрет беспримерной ее притягательности и успеха.

В свое время известный исследователь графики Пушкина, замечательный искусствовед и писатель А. М. Эфрос сделал решительную попытку подойти к этой проблеме. Рассматривая пушкинский рисунок как «дитя пауз и раздумий поэтического труда»,



подчеркивая, что у него «нет двух отдельных существований, одного — литературного, другого — изобразительного», что «текст и наброски (у Пушкина.— Л. К.) — взаимно обусловлены» и что это «создает главный закон пушкинской графики»<sup>1</sup>, — Эфрос основой ее называл ассоциацию. И поначалу это казалось достаточно убедительным. Ассоциации, вне сомнения, вели руку Пушкина-художника в целых сериях зарисовок, портретных набросков, карикатур. Это очевидно. Однако сам же Эфрос, разбирая разные типы пушкинских автопортретов, например, писал о том, что поэт «примеривался к событиям, принимал различные облики, мечтал, сочинял себе куски какой-то новой биографии, то возможной, а то и немислимой»<sup>2</sup>. Это уже был подступ к иной совсем постановке вопроса, к сожалению, все же Эфросом так окончательно и не сформулированной. А подход здесь, как думается, должен бы быть уж иным. Вспомним некоторые хорошо знакомые нам автопортреты Пушкина, изображавшего себя то юношей с восторженно открытым миру мечтательным взором, то изможденным, умудренным жизнью и опытом старцем, то Робеспьером, то денди или французом восемнадцатого столетия. Так что же — все это создано только лишь по ассоциациям? Вряд ли. Ассоциации, разумеется, не исключаются, они, несомненно, присутствуют здесь, несомненно, активны, но дело тут и в другом: в непосредственном конкретно-изобразительном воплощении неотъемлемого свойства поэта, художника вообще — к самому себе «прикидывать», «примерять» на себя своих героев, реализованных и нереализованных персонажей своего литературного творчества.

Здесь напрашивается интересное сопоставление с поэтическим творчеством Пушкина — например, как в различных вариантах «проигрывает» поэт собственную биографию в своем литературном творчестве. Тут

в основе лежит та же «прикидка», то же «примеривание» ситуаций и обстоятельств личной жизни на судьбу и поведение своих литературных героев. Существует, впрочем, и обратная связь: личное поведение поэта, как отмечает это Ю. М. Лотман, подчас становится фактом литературным, войдя в сферу его творчества поэтического.

«...Никого так не знаешь, как самого себя...» — написал как-то Пушкин в письме к П. А. Вяземскому. И простая эта истина, в сущности, исчерпывающе объясняет, почему это надо поэту — «примерять» на себя и Вольтера, и женщину, и одряхлевшего старика, и кого угодно. Это необходимо любому поэту, любому писателю — побыть и животным, и умирающим человеком, и рожаящей женщиной, и малым ребенком. Пушкин в этом отношении — не исключение. Исключение он в другом — в том, что в своих рабочих тетрадях, на черновиках многочисленных рукописей он конкретно, наглядно и до удивления просто показывает, обнажает, казалось бы, непросматриваемое, невычленимое вовсе в феномене художественного творчества. Великолепный рисовальщик, совершенно внутренне свободный, не скованный условностями жанра и узким профессионализмом, он рукою своею фиксирует то, что не является обычно предметом изображения в собственном смысле слова — он рисует как бы внутриутробное, что ли, развитие художественного образа, самый ход художественного мышления поэта. И в этом плане огромный интерес представляет обнаруженный нами в рукописи 1825 года никогда прежде не атрибутировавшийся автопортрет поэта.

На черновике «Андрея Шенье» (ПД 835, л. 60 об.) среди артистически непринужденных, исключительно точных и графически выразительных набросков конских голов — в разных ракурсах, с разным «лицом выраженьем» — поэт рисует себя в конском облике<sup>3</sup>,

но со своими кудрявыми «арапскими» бакенбардами, с носом лошади и маленьким глазом, самым поразительным и непостижимым образом глядящим на нас его собственным, Александра Сергеевича Пушкина, взглядом. (Припомним здесь, кстати, хорошо известный рассказ И. С. Тургенева о том, как, гуляя однажды со Львом Николаевичем Толстым в окрестностях Ясной Поляны, они повстречали на выгоне старую лошадь «самого жалкого и измученного вида». Ее «ноги погнулись,— живописует Тургенев,— кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась от мух, которые ей досаждали».

«Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину,— продолжает Тургенев.— И вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: — Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью...»<sup>4</sup>).

Новый автопортрет Пушкина поначалу нас просто ошеломляет. Что это? — спрашиваем мы себя, пораженные своим узнаванием, повергающим нас одновременно и в восторг, и в смятение. Игра воображения? Безудержная фантазия художника? Прихотливая шутка? Самоирония? Да, все это присутствует здесь. Но не только это. Здесь не только игра воображения, не только свобода художественной фантазии, позволяющие поэту рискованно близко подойти к предельной границе направленной на себя и едва ли не кощунственной для постороннего глаза своеобразной мистификации. Это и как бы выхваченный на миг из реального времени материализованный образ самого механизма художественного творчества. Всмотриваясь в этот портрет, мы как бы заглядываем в святая святых

художника, как бы присутствуем на «примерке» им на себя некоего неожиданного (может быть, и для него самого тоже) образа, видим как бы самый момент зарождения этого образа — еще не оформленного, не воплощенного, но уже явившегося на свет. Не случайно новый автопортрет, вызывающий поначалу удивление и смущение, вслед за этим рождает в нас чувство такое психологически сложное, противоречивое и вместе с тем органически целостное, что оно может быть сопоставлено разве лишь с самим актом художественного творчества, вернее, с нашим в нем соучастием.

В этом один из секретов необычайного обаяния пушкинского рисунка, его удивительной наполненности, удивительной современности и самодостаточности. Именно самодостаточности. Потому что это прежде всего рисунок поэта-художника, двуединого в этом жанре своего творчества, пусть и периферийного. И если мы до сих пор понимали это скорее интуитивно, то новый этот автопортрет поэта (самое, видимо, причудливое, но по-своему и достоверное из всех его самоизображений), рассмотренный в общем ряду и сопоставленный с другими пушкинскими автопортретами того же типа, доказывает это нам с очевидной практической наглядностью и убедительностью.

И еще — как ни парадоксально это кажется поначалу — именно этот Пушкин-конь, этот наиболее фантастический и художнически прихотливый автопортрет поэта позволяет нам до конца осмыслить тот факт, почему из всей дошедшей до нас обширной, любительской и профессиональной, иконографии Пушкина мы сегодня решительно предпочитаем автопортреты. Подлинный, наиболее психологически тонкий и художественно достоверный облик Пушкина-художника, Пушкина-поэта доносят до нас именно они.

My dear Mr. ...

~~...~~ ...

~~...~~ ...

~~...~~ ...

~~...~~ ...





*Николай Николаевич*  
**РАЕВСКИЙ**



*Сергей Григорьевич*  
**ВОЛКОНСКИЙ**

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

~~Handwritten text, possibly a name or address.~~

Сама возможность таких находок, как эта, в наши дни поначалу кажется просто чудом. И когда это происходит, разум долго еще настаивает на сомнении, призывает к сдержанности, аналитической жесткости суждений. Это — разум. Но сердце, но глаз — они сразу же «з н а ю т», и медленный темп операции, называемой иконографическим отождествлением, — всего лишь необходимая дань естественным в науке осмотрительности, исключению возможных случайностей и аберраций.

Находка, о которой идет речь, замечательна не только тем, что открывает нам два неизвестных прежде, неатрибутированных пушкинских рисунка — портреты выдающихся его современников — декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского, осужденного к двадцати годам каторжных работ и отбывшего свыше четверти века в сибирской каторге и на поселении, и близкого друга поэта Николая Николаевича Раевского, брата жены С. Г. Волконского Марии Николаевны, рожденной Раевской, разделившей по доброй воле своей героическую и трагичную судьбу мужа. Расшифровка, открытие этих портретов позволяют с убедительной наглядностью, вещной, так сказать, доказательностью «увидеть» декабристские связи великого поэта; в этом — историко-литературный смысл и значение атрибуции.

Оба портрета, С. Г. Волконского и Н. Н. Раевского, по праву можно назвать одними из лучших в пушкинской графике — такой выразительностью, достовер-



ностью, точностью собственно портретной характеристики они обладают.

Портреты находятся почти что в самом начале рабочей тетради поэта в красном бумажном переплете (ПД 838, л.3) с черновиками седьмой главы «Евгения Онегина», «Полтавы», лирическими стихотворениями оленинского цикла и пр. Расположенные один под другим (при вертикальном положении тетради, представляющей собою, вообще говоря, дамский альбом с удлиненными листами, заполненными в этом месте в основном текстами в два столбца) на полях черновиков IV и V строф седьмой главы «Онегина», портреты сделаны, по всей видимости, позднее написанного чернилами текста романа (конец зимы 1828 года); оба профильные, они нарисованы карандашом, очень легкими, как бы небрежными свободными штрихами, с исключительной точностью передающими не просто формально-портретное сходство, но и самую «душу живу» изображенных друзей. Особенно мастерски передано Пушкиным выражение глаз — сосредоточенный, пристальный, волевой взгляд Волконского и более мягкий, несколько, может быть, мечтательный, Николая Раевского, которого сближала с поэтом, помимо всего прочего, и страстная любовь к литературе.

Будучи замечательным знатоком и ценителем русской и европейской поэзии, Н. Н. Раевский, как известно, и сам тоже писал стихи. Пушкин посвятил ему «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье», инициалы Раевского — Н. Н. Р. — сохранились в одном из черновиков посвящения «Бахчисарайского фонтана».

Прими с улыбкою, мой друг,  
Свободной музы приношенье:  
Тебе я посвятил изгнанной лиры пень  
И вдохновенный свой досуг.  
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,  
И шепот клеветы внимал со всех сторон,

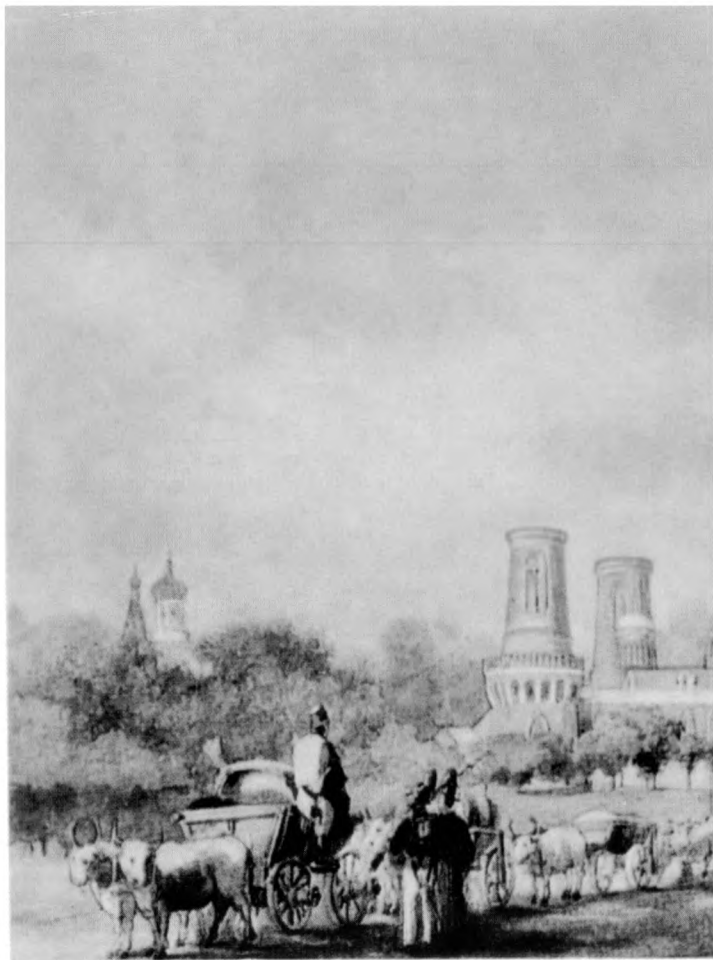
Когда кинжал измены хладный,  
Когда любви тяжелый сон  
Меня терзали и мертвили,  
Я близ тебя еще спокойство находил;  
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили...

Эти преисполненные горячей сердечности, дружбы и благодарности строки посвящения «Кавказского пленника» открывают ряд красноречивейших свидетельств того исключительного положения, которое занимал Николай Раевский в интеллектуальной, духовной и даже творческой жизни Пушкина.

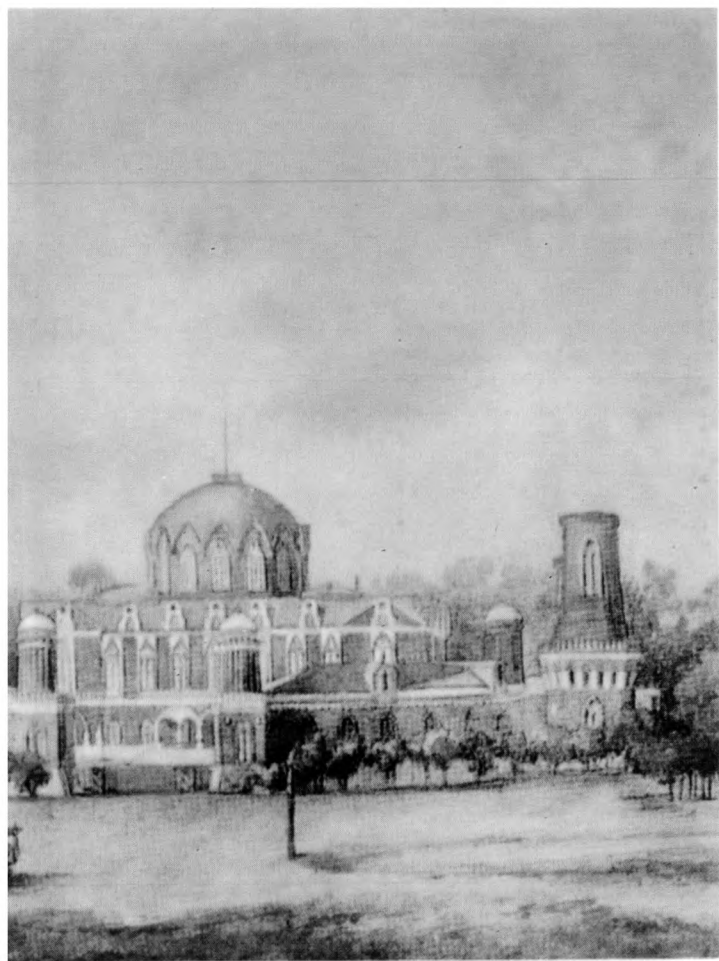
Ты здесь найдешь воспоминанья,  
Быть может, милых сердцу дней,  
Противуречия страстей,  
Мечты знакомые, знакомые страданья  
И тайный глас души моей.

Во всех обращениях Пушкина к другу всегда неизменно присутствует эта надежда — быть вполне, глубоко понятым им, ибо ему открыт «тайный глас души» поэта. И не случайно именно Николаю Раевскому посвящено одно из самых сложных, самых спорных и многозначных стихотворений Пушкина — элегия «Андрей Шенье», поднимающая чрезвычайно серьезные историко-философские проблемы и породившая солидную научно-исследовательскую литературу, продолжающую изучение элегии и сегодня.

«Андрей Шенье» создается «в те же недели и дни,— пишет Н. Эйдельман в своей новой работе о Пушкине и декабристах,— когда разворачивается интенсивнейшая переписка Пушкина с Рылеевым, Бестужевым, когда разговоры о сегодняшних поэмах, думах, комедиях, стихах заостряются вокруг имени Байрона и подразумевают возможный, ожидаемый, крутой поворот истории...»<sup>1</sup>



Петровский замок за Тверской заставой Москвы.  
Акварель неизвестного художника.  
1820-е гг.



«И без конкретных подробностей о состоянии тайных обществ и подготовке восстания,— читаем мы несколько ниже,— письма издателей «Полярной звезды» говорят их необыкновенному читателю куда больше, чем в них написано. Тон, убеждение, ожидание, предчувствие, уверенность и неуверенность Пушкина, Рылеева, Бестужева — все Пушкиным уловлено, понято, переведено на язык своего мироощущения, и здесь-то важнейшие... истоки программного стихотворения 1825 года. Подтверждение тому — и в посвящении «Андрея Шенье». Оно написано, как видно по рукописи, после того, как элегия вчерне завершена. Таким образом, строки, предназначенные к началу стихотворения, сочинялись как итог, завершение...»<sup>2</sup> И обращены эти строки к Николаю Раевскому, другу, который понимал поэта лучше, точнее и глубже, чем кто-либо иной:

Певцу любви, дубрав и мира  
Несу надгробные цветы.  
Звучит незнаемая лира.  
Пою. Мне внемлет он и ты.

Пушкин, очевидно выделявший Раевского даже из круга ближайших друзей своих, состоял с ним в оживленной и преимущественно, надо думать, творческой переписке, к сожалению, до нас не дошедшей. (Большинство писем, видимо, было уничтожено после 14 декабря.) Но сохранившийся черновик письма поэта к Николаю Раевскому, написанного в Михайловском во второй половине июля 1825 года, поражает своею исключительною серьезностью, глубиною высказываемых суждений при особой доверительности тона, что, безусловно, свидетельствует о высоком мнении поэта о друге, уважении к его познаниям, взглядам и интересам, а также о необыкновенной дружеской близости, поскольку хорошо известно, как не любил Пушкин



Н. Н. Раевский (сын).  
Карандаш. Рисунок неизвестного художника. 1819 г.

рассказывать кому-либо о своих творческих замыслах и работе.

Письмо написано по-французски, и после нескольких вопросов о делах житейских и короткого сообщения о своей жизни тех летних месяцев 1825 года поэт переходит к рассказу о работе над «Борисом Годуновым». «Сочиняя ее (трагедию «Борис Годунов». — Л. К.), — пишет он, — я стал размышлять над трагедией вообще. Это, может быть, наименее правильно понимаемый род поэзии...» Далее письмо переходит в собственно критическое исследование трагедии как литературного жанра, исследование глубокое и блистательное при всей сжатости эпистолярной формы. «Вы спросите меня: а ваша трагедия — трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее легкий род, но попытался соединить и то и другое. Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену — такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».

Так заканчивается черновик этого письма, дружеская доверительность и исключительная значимость которого убедительно говорят о тончайшей духовной связи поэта с Раевским.

Знаменательны «парность» атрибутируемых портретов Раевского и Волконского, очевидная их неслучайная близость и одновременность появления в тетради. Ведь это именно семья Раевских сблизила Пушкина с С. Г. Волконским, с которым поэт познакомился в 1820 году. По свидетельству сына и внука С. Г. Волконского, князю Сергею Григорьевичу было поручено принять Пушкина в Южное общество, одним из главных руководителей которого он был. В письме к академику Л. Н. Майкову сын Волконского Михаил Сергее-



С. Г. Волконский.  
Гравюра В. Унгера с миниатюры Ж. Изабе 1814 г.



вич, родившийся в 1832 году в Сибири и проведший там свои детские и юношеские годы, писал: «Пушкин, гений которого освещал в Сибири мое детство и юность, был мне близок по отношениям его к отцу и к Раевскому (Н. Н. Раевскому-сыну.— Л. К.)... Не знаю, говорил ли я Вам, что моему отцу было поручено принять его в Общество и что отец этого не исполнил. «Как мне решиться было на это,— говорил он мне не раз,— когда ему могла угрожать плаха, а теперь, что его убили, я жалею об этом. Он был бы жив, и в Сибири его поэзия стала бы на новый путь»...»<sup>3</sup>

О том же, как о «предании», сохранившемся в их семействе, сообщил в своей книге «О декабристах (по семейным воспоминаниям)» и внук С. Г. Волконского — С. М. Волконский. «Здесь уместно упомянуть подробность,— пишет он,— которая, кажется, в литературу не проникла, но сохранилась в нашем семействе как драгоценное предание. Деду моему Сергею Григорьевичу было поручено завербовать Пушкина в члены Тайного Общества, но он, угадав великий талант, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения»<sup>4</sup>.

Комментируя сообщение сына С. Г. Волконского о намерении декабристов принять Пушкина в члены тайного общества, академик М. В. Нечкина отмечает, что оно подтверждается и рядом косвенных данных. «Декабрист Волконский,— констатирует Нечкина,— был действительно столь близок с семьей Раевских и с Пушкиным, что кому же как не ему было взять на себя такое поручение?»<sup>5</sup>

О знакомстве и общениях Пушкина с семьей Раевских — с прославленным героем Отечественной войны 1812 года генералом Николаем Николаевичем Раевским и его детьми: старшим сыном Александром, дру-

гом Пушкина Николаем и сестрами Екатериной (в замужестве графиней Орловой), Еленой, Софьей и Марией — написано уже достаточно много. Тем не менее невозможно не упомянуть, хотя бы вскользь, о тех тесных дружеских узах, которые связали поэта с Николаем Раевским еще в достопамятную поездку его с ним, его сестрами и отцом по Кавказу и Крыму летом 1820 года, оставшуюся жить в душе Пушкина навсегда очень теплым, и светлым, и радостным воспоминанием («...счастливейшие минуты жизни моей провел я посередине семейства почтенного Раевского», — писал он в сентябре 1820 года брату Льву), и о том, как с Марией Раевской-Волконской, отправлявшейся к мужу в Сибирь, он хотел преправить друзьям-декабристам знаменитое свое послание к ним «Во глубине сибирских руд...» и, наконец, о широко известном эпизоде пребывания поэта в Каменке у декабриста Василия Львовича Давыдова, сводного брата Н. Н. Раевского-старшего, куда ежегодно в конце ноября во время именин хозяйки дома Екатерины Николаевны и внучки ее Екатерины Раевской съезжались члены Южного общества (до марта 1821 года — «Союз благоденствия») и где Пушкин находился во время съезда декабристов, не подозревая о том. «Приехав в Каменку, — вспоминает в своих «Записках» декабрист И. Д. Якушкин, — я полагал, что никого там не знаю (Якушкин прибыл на съезд посланцем из Москвы. — Л. К.) и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями»<sup>6</sup>. Далее следует общеизвестный рассказ об инсценировке заседания тайного общества в присутствии Пушкина и его горьком разочаровании, когда Якушкин сказал, что «разумеется, все это только одна шутка».

«Я никогда не был так несчастлив, как теперь, — сказал, по свидетельству автора «Записок», Пушкин, —



С. Г. Волконский.  
Масло. Художник Дж. Доу. 1822 г.

я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка»<sup>7</sup>.

«В эту минуту он был точно прекрасен», — заключает Якушкин.

Но почему же все-таки портреты Раевского и Волконского находятся в рукописях 1828—1829 годов?

Не случайность ли это? Ведь осужденный по первому разряду к двадцати годам каторжных работ и пожизненному поселению в Сибири «государственный преступник» генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский, лишенный звания, титула, состояния и гражданских прав, закованный в кандалы, в ночь на 26 июля 1826 года был вывезен в сопровождении жандармов и фельдъегеря из Петропавловской крепости Петербурга в Благодатский рудник Нерчинских заводов. А товарищ Пушкина Николай Николаевич Раевский-младший, не состоявший формально членом какого-либо из тайных обществ, но привлекавшийся к следствию по делу декабристов и подвергнутый даже за близость свою к ним аресту, хотя и был освобожден с «очистительным аттестатом», находился в это время, так же, как и большинство подозреваемых в сочувствии к декабристскому движению офицеров, далеко от столицы — в действующей армии и не виделся с Пушкиным, по словам самого поэта, «уж несколько лет».

Ответ на вопрос этот есть. Уезжавшая вслед за мужем в Сибирь княгиня Мария Николаевна Волконская оставила у родных Сергея Григорьевича своего годовалого сына Николая, которого ей запрещено было взять с собой. Спустя год, в январе 1828 года<sup>8</sup>, мальчик умер, а еще через год его дед, генерал Николай Николаевич Раевский, просил Пушкина написать эпитафию для памятника на могиле ребенка. Поэт написал ее.

В сиянье, в радостном покое,  
У трона вечного творца,  
С улыбкой он глядит в изгнание земное,  
Благословляет мать и молит за отца.

«Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку...— писала в письме к отцу от 11 мая 1829 года Мария Николаевна Волконская,

только год спустя узнавшая о смерти сына.— Она прекрасна, сжата, полна мыслей, за которыми слышится очень многое. Как же я должна быть благодарна автору; дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность...»<sup>9</sup>

«...Скажи обо мне А. С. (Пушкину.—Л. К.),— просила Мария Николаевна передать ее слова благодарности поэту и в письме своем к брату Николаю Раевскому.— Поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова утешения материнскому горю, которые он смог найти,— выражение его таланта и умения чувствовать»<sup>10</sup>

Представляется очень возможным, что именно эти события послужили конкретной причиной размышлений поэта о судьбах друзей его («братьев, товарищей») или, во всяком случае, вызвали воспоминания о неразрывно связанных в его памяти С. Г. Волконском и Н. Н. Раевском, к которому он отправился на Кавказ, к месту военных действий русской армии весной 1829 года, не получив на то разрешения правительства.

Убедительным подтверждением неслучайности появления портретов Волконского и Раевского служит полустершаяся, смазанная строка над портретом Волконского — «К о г д а б т ы п р е ж д е з н а л». Строка эта, не вошедшая в собрания сочинений поэта вместе с другими набросками и отрывками его художественных произведений, опубликована была в изданном к столетию со дня гибели Пушкина своде несобранных и не публиковавшихся прежде пушкинских текстов, известном под названием «Рукою Пушкина» (Academia, 1935 год).

Текст пушкинской строки отнесен к группе фрагментов «в виде отдельных фраз и слов неизвестных произведений в прозе» и был признан прокомментированным его М. А. Цявловским записью, «объяснить которую мы не можем»<sup>11</sup>. И действительно, взятая в



М. Н. Волконская с сыном Николаем.  
Гравюра В. Унгера с акварели П. Соколова 1826 г.

отдельности, она представляет собою необъяснимую, казалось бы, загадку. Разрешить эту загадку сегодня может помочь нам атрибуция портрета, который таинственная строка окружает сверху. Строка примыкает

к рисунку вплотную, словно обтекая его, а содержание ее как нельзя более подходит к ситуации, в самых общих чертах изложенной выше. Естественно напрашивается предположение, что строка эта (а точнее, три стопы ямба) — начало обращенного к С. Г. Волконскому стихотворения, которое — увы! — по какому-то несчастливому стечению обстоятельств так и не осуществилось «во плоти». Но все же стихотворение было начато, и начало его облечено в сохранившуюся и дошедшую до нас поэтическую строку, а это уже — непреложное свидетельство творческого, душевного движения поэта.

Когда б ты прежде знал, князь Сергей Григорьевич Волконский, сын генерал-аншефа, соратника Румянцева и Суворова, внук фельдмаршала Репнина, герой сражений под Прейсиш-Эйлау, Фридрихс-Фельдом, Отечественной войны 1812 года, за боевые отличия и храбрость в двадцать шесть лет произведенный в генерал-майоры... когда б ты знал, что придется тебе в кандалах, под присмотром казаков бить киркой в темных шахтах Сибири, что жена твоя станет часами простаивать у забора тюрьмы твоей, что твой первенец, сын твой, умрет, не увидев отца, за тысячи верст от тебя, а ты сам, тридцать лет своей жизни отбывший на каторге и поселенье, уж вернувшись на родину, семидесятипятилетним старцем будешь ходатайствовать о снятии наконец с тебя оскорбительной полицейской опеки... Когда бы знал это ты... Но он знал. Или если не знал, то предчувствовал все это, и никогда, даже на склоне лет своих, ни в чем не раскаивался, не сожалел ни о чем. «...Я не имею о себе что-либо сказать, как то, что твердость моих убеждений никогда не ослабевала...»<sup>12</sup> — уж совсем стариком засвидетельствовал в своих «Записках» Волконский.

«Князь Сергей Григорьевич Волконский был человек замечательный по твердости своих убеждений

и по самоотверженности своего характера,— писал в 1866 году о скончавшемся декабристе «Колокол» Герцена.— ...Все улыбалось ему при рождении его: богатство, знатность, связи, все было дано ему судьбою... 24 лет от роду он был полковником и флигель-адъютантом, 26 лет произведен в генерал-майоры и, несколько недель спустя, получил за Лейпцигскую битву анненскую ленту... Все это принес он в жертву своим убеждениям... и тридцати девяти лет от роду пошел на каторгу в Нерчинские рудники...»<sup>13</sup>

Глядя на великолепный пушкинский рисунок, непонятным образом остававшийся столько времени для нас «закрытым», сравнивая его с широко известным портретом-миниатурой Ж. Б. Изабе, «один к одному» соотносимым с портретом, нарисованным Пушкиным, и, по свидетельству сестры декабриста С. Г. Волконской, отличающимся поразительным сходством с оригиналом<sup>14</sup>, мы не можем не вспомнить слова декабриста Г. С. Батенькова о поразившем его внешнем облике Волконского: «Какое прекрасное, благородное, истинно княжеское лицо! Вовек не забуду впечатления, которое он на меня сделал»<sup>15</sup>

Многие современники, декабристы — товарищи его по сибирской каторге и ссылке говорили о необыкновенной доброте, деликатности, благородстве Волконского.

Князь Сергей Григорьевич Волконский был натурою исключительно цельною и самоотверженною. Будучи аристократом по рождению, прежде всего он был — в самом полном и собственном смысле понятия — аристократом духа. Именно особая цельность его, его мужественность и благородство позволяли ему на протяжении всей необычайной и воистину мученической жизни его всегда, при любых, даже самых драматических ее поворотах оставаться самим собою, не подлаживаясь ни под кого, не приспособливаясь, не ища





С. Г. Волконский.  
Акварель. Художник Н. А. Бестужев. 1840-е гг.

сострадания к себе, не стесняясь своих убеждений, занятий, привязанностей, привычек. Его «Записки», написанные уже на склоне жизни, в ряду великого множества других мемуаров — памятников той эпохи поражают нас сразу своею открытостью, безыскус-

ственной скромностью, очевидною искренностью, простотой, удивительно молодой, яркой памятью, молодыми чувствованиями и суждениями бесхитростными и высокими. Читая эти «Записки», просто диву даешься, что написаны они человеком, столько страдавшим, перенесшим столько бед и несправедливостей — и не только, увы, от противников политических, с которыми откровенно и честно боролся, но и от людей, ему кровно родственных, близких, — и не почерствевшим, не отказавшимся от идеалов молодости своей, от братской общности со своими товарищами по борьбе и изгнанию.

«Вступление мое в члены тайного общества, — пишет Волконский, — было принято радушно прочими членами, и я с тех пор стал ревностным членом одного и скажу по совести, что я в собственных глазах вполне понял, что вступил на благородную стезю деятельности гражданской»<sup>16</sup>. Так предельно просто пишет он о том, что стало смыслом его жизни и за что, не виня никого, ни о чем не жалея, добровольно пошел на страдания и лишения.

Рассказывая о деятельности Южного общества, С. Г. Волконский пишет:

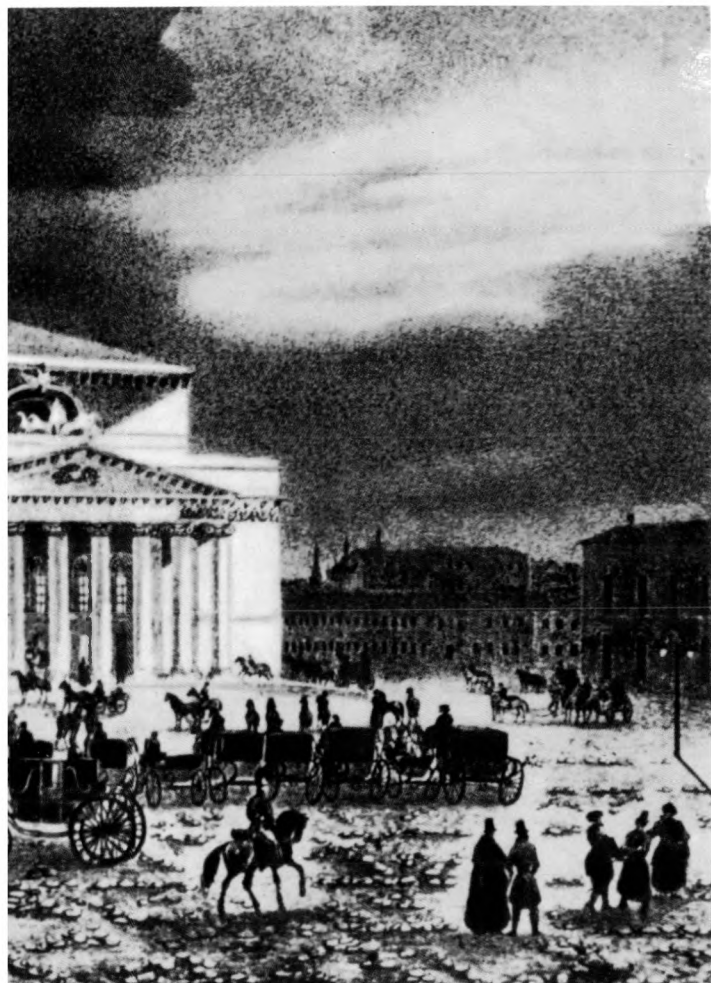
«Кроме Витта и Бошняка, оказались еще два предателя, это Шервуд и Майборода. Шервуд был также агент Витта, и вот что я знаю о личности его и действиях...

...Поездка его в Харьков дала ему случай познакомиться и сблизиться с Федором Федоровичем Вадковским, членом нашего общества, молодым человеком, пылким, умным, но слишком доверчивым...

Шервуд сумел вкрасься в его доверие как тонкий лазутчик; имея некоторые догадки о происходящих... на именины старухи Давыдовой, в Екатеринин день, съездах членов тайного общества в Каменке, он объявил Вадковскому, что он член общества, а тот, по



Москва. Большой театр.  
Литография А. Кадоля. 1825 г.



доверчивости, поверил ему и взошел с ним в короткое знакомство; от него Шервуд узнал подробности о тайном обществе; Вадковский сообщил даже ему, что устав общества и список членов хранятся у него в потаенном ящичке, в футляре его скрипки; и со всеми этими изменнически добытыми данными Шервуд возвратился к Витту...»<sup>17</sup>

«...При воспоминании о Вадковском,— продолжает Волконский,— прочь от моего пера всякое осуждение его неосторожных действий. Я храню к памяти его глубокое уважение, как к одному из замечательных лиц по уму, по теплоте его чувств и сердца и по неизменчивости его убеждений, а неосторожное его доверие извинительно отчасти вследствие этих самых чувств, при неопытности его и молодости»<sup>18</sup>

Интересен и чрезвычайно характерен для Волконского рассказанный им в «Записках» эпизод, относящийся к военным действиям русской армии на территории Европы в 1813 году. «Не знаю, по какому обстоятельству,— пишет Волконский,— на квартире, занимаемой русскими, было сделано притеснение хозяйну оной, и испуганный немец с воплем принес жалобу Винценгероде, который приказал мне сделать розыск и виновных представить ему для суждения по закону... Винценгероде, взбешенный, что его приказание о дружелюбном обращении с жителями не соблюдается, вышел навстречу виновного и, как не заметил, что он офицер, начал его ругать и в горячности дал ему пощечину.

Это обстоятельство меня поразило глубоко, просто как варом обдало. По преданности моей к Винценгероде, по сочувствию к носящему мундир русский,— офицер ли он или рядовой,— я был сильно огорчен этим поступком, как бы от собственной беды, убежал во внутренние комнаты и... начал от злости ли или, лучше сказать, от сочувствия и к Винценгероде, и к оби-

женному навзрыд плакать. Возвращающийся мой начальник, видя, что я не поворачиваюсь, стоя к нему спиной... подошел ко мне и сказал: «Что с вами случилось?» — Не со мною, генерал, сказал я ему, но с вами.— «Да что же?» — сказал он.— Да, генерал, вы в запальчивости сделали ужасное дело... Вы дали пощечину офицеру.— «Да это не офицер, а простой рядовой».— Да и в таком случае было бы ваше действие предосудительно, а вы нанесли такую обиду офицеру.— «Неужели?...» Тогда добрый старик... сказал: «...Да, я невольно обидел офицера, но постараюсь это поправить; позовите мне этого офицера». Когда его привели, он ему сказал: «Я неумышленно пред вами виноват... и... мой... поступок не могу другим поправить, как предложить дать вам сатисфакцию поединком...»<sup>19</sup>

«...Но, к сожалению,— продолжает Волконский,— этот офицер не понял благородного поступка начальника и, к стыду моему, ответил: «Генерал! Не этого я от вас прошу, но чтоб, при случае, не забыли меня представлением». Тут уже я покраснел за соотечественника... Этот анекдот выставляю не в пользу свою, но чтоб выказать благородство чувств Винценгероде»<sup>20</sup>.

Великодушие, самоотверженность С. Г. Волконского, его повышенное чувство ответственности и долга, его простодушие и не парадная, а доподлинная, органично ему присущая демократичность вызывали в некоторых людях, очевидно не обладавших в той же мере, как он, этими качествами, представление о нем как о человеке недостаточно умном. Еще бы: иметь все и пожертвовать этим всем, не раскаиваясь и не сожалея; человека, способствовавшего, пусть невольно, провалу дела жизни и крушению вместе с тем и его личного благополучия,— извинить неопытностью, пылкостью чувств и беспечностью молодости; богатую родню, обделявшую и обкрадывавшую его, беззащитного и бесправного,— простить, а своего сына, не раз-

делявшего убеждений отца и с высокомерием ограниченности иронизировавшего над ними («Великие люди в страшной ажиотации — 25-летие!» — со злою иронией писал по случаю двадцатипятилетия со дня восстания 14 декабря молодой Михаил Волконский), — не судить, не винить, а любить безраздельно!

Впрочем, это еще Николай I, раздраженный до крайности неподатливостью Волконского, который, принадлежа по рождению своему к кругу высшей придворной аристократии, казалось бы, должен быть больше чем кто-либо преданным трону, писал: «Сергей Волконский набитый дурак... лжец и подлец в полном смысле... Не отвечая ни на что, стоя, как одурелый, он собою представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека»<sup>21</sup>.

«Тут явился сам государь император Николай, в сопровождении Левашова, — рассказывает в «Записках» С. Г. Волконский о начале допроса в Зимнем дворце, — и сказал мне, тогда еще не гневно: «От искренности ваших показаний зависит ваша участь, будьте чистосердечны, и я обещаю вам помилование»<sup>22</sup>.

Чистосердечный князь Волконский на этот раз чистосердечия не выказал — и царь соизволил высказаться: «Сергей Волконский набитый дурак». А генерал-адъютант Чернышев-инквизитор попрекал недвусмысленно: «Стыдитесь, генерал-майор кн. Волконский, прапорщики больше вас показывают!»<sup>23</sup>.

Правда, не только враги попрекали в то время Волконского «запирательством» и несгибаемостью. Брат жены Сергея Григорьевича А. Н. Раевский в марте 1826 года писал родным, что Волконский «ведет себя, по слухам, как фанатик идеи...»<sup>24</sup>, а его отец, генерал Раевский, — что «Волконскому будет весьма худо, он делает глупости, запирается, когда все известно...»<sup>25</sup>. Но зато «из девяти офицеров Азовского полка и восьми офицеров Днепровского, введенных князем в заговор,

арестован и сослан был, и то по своей собственной неосторожности, один штабс-капитан Азовского полка... прочие же шестнадцать совершенно ускользнули от преследования правительства, благодаря твердой сдержанности Волконского на допросах»<sup>26</sup>.

Беспредельная личная честность, бескорыстие, чуткая совесть и стремление к справедливости привели князя Сергея Григорьевича «в кружок людей,— как писал он в своих «Записках»,— мыслящих, что дела их не должны ограничиваться шарканием и пустоποрожней жизнью петербургских гостиных и шагистикой военной гарнизонной жизни, а что жизнь и дела их должны быть посвящены пользе родины и гражданским преобразованиям, имеющим целью поставить Россию на уровень гражданского быта, введенного в Европе в тех государствах, где начало было не власть деспотов, но права человека и народов...»<sup>27</sup>.

Сделав единожды выбор свой, С. Г. Волконский уже не менял ни своих убеждений, ни друзей, в чьих сердцах оценил он прежде всего «высокие и пылкие чувства патриотизма». Даже будучи недвусмысленно предупрежденным близким к правительственным кругам генералом П. Д. Киселевым о грозящей ему расправе и сибирской каторге, Волконский не предпринял решительно никаких шагов для обеспечения личной своей безопасности, хотя предупредил о том своих товарищей. «Выпутываться» он не хотел, «одумываться» ему было не в чем. Все было обдуманно, все решено.

В Иркутске, будучи уже не ссыльнокаторжанином, а ссыльнопоселенцем, князь Сергей Григорьевич Волконский, по свидетельству часто бывавшего в доме Волконских доктора Н. А. Белоголового, «прослыл... большим оригиналом». Он «предался сельскому хозяйству», «опростился» и «вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образо-



ван, говорил по-французски, как француз, сильно грасируя, был очень добр и с... детьми всегда мил и ласков...»<sup>28</sup>.

Сергей Григорьевич ценил и любил своих товарищей-декабристов, но «в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки»<sup>29</sup>.

«Оригинальность», «странности» С. Г. Волконского, думается нам, отнюдь не сводились к идее «опрошенчества». Дело было совсем в другом. Земледельческий труд в глазах князя С. Г. Волконского всегда был наиболее уважаемым из всех родов хозяйственной деятельности человека. Близость к земле, к труду, связанному с ее обработкой, приближала его к народу, к которому влекли его истинно демократические убеждения, а вовсе не желание пооригинальничать, покрасоваться исключительностью своего положения. Всякая поза, любая искусственность вообще крайне чужды были его характеру, и он всегда, насколько это от него зависело, стремился делать то, что считал нужным, полезным для отечества и интересным для себя лично. С крестьянами, с которыми в период жизни его ссыльнопоселенцем в Сибири Волконского связывали общие, так сказать, профессиональные заботы и нужды, ему было значительно интереснее, чем с чиновниками-горожанами, провинциальными мещанами, которых

шокировали откровенно приятельские отношения князя с мужиками. Завтрак Волконского на облучке крестьянской телеги «краюхою серой пшеничной булки», колоритно описанный доктором Белоголовым, был просто завтраком его совместно со знакомыми и интересными для него людьми — и ничем более.

О пристрастии и общениях С. Г. Волконского с «простолюдинами» свидетельствовал и сын его Михаил Сергеевич, далеко не разделявший демократических взглядов отца своего. «С. Г. Волконский был ближе всех (т. е. ближе всех декабристов.— Л. К.) к рабочему люду,— писал он,— влечение к простому народу прошло, можно сказать, через всю его жизнь; он входил в подробности занятий крестьян, их хозяйства и даже семейной жизни; они обращались к нему за советом, за медицинскими пособиями, за содействием»<sup>30</sup>.

С. Г. Волконский откровенно гордился своими агрономическими успехами, ему радостно было сознание того, что крестьянский труд оказался ему по силам, что он собственными руками в состоянии зарабатывать на нужды семьи. «Сам живу-поживаю помаленьку,— пишет он не без некоторой скромной гордости И. И. Пущину,— занимаюсь... хлебопашеством и счета свои свожу с барышком, трачу на прихоти, на баловство детям свою трудовую копейку без цензуры и упреков, тяжеленько было в мои леты быть под опекою»<sup>31</sup>.

Дружество Волконского со своими товарищами-декабристами отличалось тою же свойственною ему простотой, непосредственностью, глубочайшею преданностью, от сердца идущей любовью. «Вы знаете,— писал Волконский И. И. Пущину,— что я весь душой друзьям своим, и всякое, им случившееся, близко моему сердцу»<sup>32</sup>. «Я мало верю родственным светским связям,— пишет он Пущину в другом письме,— тюремное наше семейство совестливее». И чуть ниже



*Сергій Волконскій*

С. Г. Волконский.  
Гравюра В. Унгера с фотографии конца 1850-х гг.

о том же: «Семья наша тюремная, хотя велика, но дружна, это не по-светски, честь нам»<sup>33</sup>.

В друзьях своих С. Г. Волконский ценил качества, прежде всего характеризующие их нравственный облик, но никак не внешний блеск и приглаженную благопристойность. Искренним уважением и своеобразной нежностью проникнуто его отношение к П. А. Муханову, в одиночестве проведенному десять лет в Братском остроге. «Не одичать» [при этом] и сохранить все качества нравственного и просвещенного человека — это не безделица»<sup>34</sup>, — пишет о нем Волконский.

А когда в марте 1841 года был неожиданно арестован давний друг С. Г. Волконского декабрист Михаил Сергеевич Лунин, Волконский, не задумываясь о причине ареста и не прикидывая, не пребудет ли от того ему, ссыльнопоселенцу Волконскому, каких-либо новых неприятностей, кинулся на прощание пожать Лунину руку и потихоньку спросить у него по-французски, «не надобно ли ему денег». В эту минуту Волконский, пишет Пущину Ф. Ф. Вадковский, «был истинно велик душой»<sup>35</sup>.

«Вы знаете давность моего знакомства с ним (Луниным. — Л. К.), — писал Пущину Волконский, — тридцать пять лет близкого знакомства и полного уважения не может измениться, быть подчинено никаким событиям, и теперь вне его присутствия люблю и уважаю по-прежнему, если он виновен — это его дело, его воля и его ответ — мне же долг, обязанность не изменяться по обстоятельствам»<sup>36</sup>.

Не изменяться по обстоятельствам! В этом — весь Волконский. До глубокой старости, несмотря на лишения, на мучения, на менявшиеся ситуацию и настроение окружающих, он сумел сохранить душу чистую, благородную, не запятнанную ни малодушием, ни приспособленчеством, ни забвением духа братства и солидарности с друзьями, бок о бок с ним прошед-

шими тяжкий путь и принявшими крестные муки. В одном из последних своих писем из Сибири в январе 1856 года Волконский писал: «Мне... Сибирь не в тягость, знаю, за что я здесь, и совесть спокойна... Что я патриот, я доказал тем, что я в Сибири»<sup>37</sup>.

Но порою грусть все же подступала к его сердцу стойка и борца, «замечательного по твердости своих убеждений и по самоотверженности своего характера». И тогда он писал в письме другу Ивану Ивановичу Пущину: «Не грустно умереть в Сибири, но жаль, что из наших общих опальных лиц костей не одна могила, мыслю об этом не по гордости, тщеславию личному, врозь мы, как и все люди, пылинки, но грудой кости наши были бы памятником дела великого при удаче для родины и достойного тризны поколений»<sup>38</sup>.

И в памяти поколений остался не только общий памятник. «Декабристы были... самоотверженные люди. Все более и более я их уважаю. Волконский, генерал-адъютант<sup>39</sup>, богатый человек, и он шел на это дело, зная, что завтра его закуют»<sup>40</sup>. Слова эти принадлежат Льву Николаевичу Толстому. И сказал он их в 1905 году, спустя три четверти века после того, как «генерал», «богатый человек» князь Сергей Григорьевич Волконский пошел «на это дело, зная, что завтра его закуют».

А спустя еще четверть века (еще одно поколение) мы встречаем Волконского в творчестве Марины Цветаевой, где он появляется как своеобразная точка отсчета в системе такой этической категории, как справедливость. В прозаической повести о людях и времени своей московской молодости Цветаева, рассказывая об одном из друзей своих этой поры, пишет:

«Я никогда не встречала в таком молодом — такой страсти справедливости... «Почему я должен получать паек, только потому, что я — актер, а он — нет? Это несправедливо». Это был его главнейший довод, резон

всего существа, точно (да т о ч н о и есть!) справедливость нечто совершенно односмысленное во всех случаях — несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое...

Несправедливо — и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Несправедливо — и н е т. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом...

Н е с п р а в е д л и в о он произносил так, как князь С. Г. Волконский — н е к р а с и в о. Другое поколение — другой словарь, но вещь — одна»<sup>41</sup>.

«Его несправедливо было — неправедно», — заканчивает Цветаева эту характеристику, так неслучайно построенную на аналогии с образом князя Сергея Григорьевича Волконского. Портрет его в черновиках пушкинских рукописей позволяет увидеть воссозданные и сохраненные для нас размышляющим о нем Пушкиным черты того, чье главное, «во всех случаях — несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом» качество было — стремление к справедливости, во имя которой пошел он на каторгу в рудники и о приверженности которой, несмотря ни на что, не жалел и на закате дней своих, уходя из жизни таким же несломленным, каким оставался всегда, неперекрытым и не приладившимся совмещать идеалы с удобствами выгод и жизненных благ для себя.

W. Gier  
Franklin  
Wash



Q  
M  
M



*Александр Иванович*  
**ОДОЕВСКИЙ**



~~Am. ...~~ ~~... ..~~  
~~... ..~~ ~~... ..~~  
~~... ..~~ ~~... ..~~

Bone ... ..  
 Sing ... ..

Nunc ... ..  
~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~

... ..  
~~... ..~~ ~~... ..~~

by ... ..  
 by ... ..

~~... ..~~ ~~... ..~~  
~~... ..~~ ~~... ..~~  
 ... ..



**В** рабочей тетради с черновиками «Полтавы», седьмой главы «Онегина», многими замечательными стихотворениями — такими, как «Предчувствие», «Воспоминание», «Поэт и толпа» и другими, на листе, где оканчивается черновик стихотворения «Рифма, звучная подруга...» (ПД 838, л. 25 об.), возле заключительного росчерка к нему, привлекает внимание крупный рисунок поэта, изображающий, как отмечено в современной нам исследовательской пушкиноведческой литературе, «украинского казака, остриженного в кружок, с длинными отвисшими усами»<sup>1</sup>. Портретного значения за рисунком не признавалось, а по местоположению своему в тетради — среди черновиков «Полтавы» — рисунок и вправду воспринимается поначалу как непосредственно связанный с работой над текстом поэмы, как своего рода эскиз типического характера или возникший по прямой аналогии с текстом «Полтавы» изобразительный образ одного из литературных персонажей. Иллюстративность, как известно, не чужда была графике Пушкина, и сюжет «Полтавы», его историко-этнографические истоки не только должны были, но и в действительности отразились в рисунках на черновиках поэмы и примыкающих к ней по месту расположения текстов. (Например, на листе 21 об. среди других рисунков изображен и украинский казак с характерным чубом на темени и «длинными отвисшими усами».)

Однако рисунок, о котором в данном случае идет речь, не является такого рода



Царское Село.  
Вид на Екатерининский дворец.  
Литография, раскрашенная акварелью,  
А. Мартынова. 1821—1822



творчеством Пушкина-художника. Этот рисунок — портрет. И портрет замечательный по точности передачи лица портретируемого — поэта-декабриста Александра Одоевского, автора знаменитого поэтического ответа («Струн вещих пламенные звуки...») на послание к сосланным в Сибирь декабристам Пушкина («Во глубине сибирских руд...»).

Нет нужды цитировать всеми наизусть знакомое хрестоматийное стихотворение Одоевского, из Читинского острога сибирской каторги уверившего первого поэта России: «Своей судьбой гордимся мы...» Но невозможно и на этот раз удержаться от восхищения бесподобным умением Пушкина в одномоментном, непроработанном рисунке-портрете, беглом наброске лица, иногда, может быть, лишь единожды виденного в жизни и много времени спустя воспроизведенного по памяти, передать нечто самое характерное в нем, самое неповторимое, то духовно особенное, что присуще только живому взгляду живого человека.

До нас не дошло документальных свидетельств о личных общениях Пушкина с Одоевским. Но это отнюдь не означает, что они никогда не встречались друг с другом. Общий круг знакомых, те же гостиные светского Петербурга, та же среда прогрессивно мыслящей интеллигентной молодежи столицы.

А. И. Одоевский был родственником и другом Грибоедова, называвшего его своим «питомцем», «кротким, умным, прекрасным Александром». В 1825 году Одоевский дружески сблизился с Кюхельбекером, с которым и поселился даже вскоре на одной квартире. Много позже, переведенный по ходатайству престарелого отца своего из Сибири рядовым на Кавказ, Александр Одоевский познакомился и подружился там с Лермонтовым, посвятившим его памяти большое стихотворение, где писал о безвременно умершем друге:



**А. И. Одоевский.**  
Карандаш, белила. Художник Л. Питч  
(с оригинала Н. А. Бестужева)

В толпе людской и средь пустынь безлюдных,  
В нем тихий пламень чувства не угас:  
Он сохранил и блеск лазурных глаз,  
И звонкий детский смех, и речь живую,  
И веру гордую в людей и жизнь иную.

Этим лермонтовским строкам близок отзыв об Александре Одоевском декабристов — товарищей его по сибирской каторге: «Одоевский — ангельской доброты. Пиит и учен; знает почти все главные европейские языки. По богатству был в Петровском остроге в числе тамошних магнатов. Несмотря на богатство, он всегда в нужде, ибо со всеми делится до последнего»<sup>2</sup>.

Послание Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского» «имеет великое достоинство в описании характера одного из добрейших и честнейших моих товарищей,— писал декабрист барон А. Е. Розен.— Оно превосходно изображает чистоту его души, спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, но о страданиях чело- века...

Весьма жаль, что нет верного портрета его; в то время не было фотографии. Нарисованный портрет Н. А. Бестужевым-1-м акварельный похож по складу лица, но выражение и глаза непохожи: они как-то прищурены, а его взгляд был открытый, живой, умный...»<sup>3</sup>.

Атрибутируемый рисунок Пушкина находится в рукописях 1828—1829 годов и несет черты несомненного сходства со всею практически известною нам иконографией А. И. Одоевского. Особенно характерными для Одоевского в пушкинском рисунке представляются и своеобразная, с крупным, специфического очертания затылком форма головы, и гладкий высокий лоб, и мощная (хорошо видная даже на ранних портретах Одоевского) шея, и ровная, со сглаженной переносицей линия лба и носа, и особо подчеркнутый Пушкиным очень четкий абрис челюсти (поэт исключительно выразительно показал как бы угадывае-



А. И. Одоевский.  
Миниатюра на кости. Художник И. Фридриц.  
1823—1825 (?)

мую глазом линию от уха до подбородка, характеризующую структуру лица Одоевского на большинстве его портретов), и, наконец, взгляд больших и спокойных, «лазурных» глаз, неизменно привлекавших внимание всех знавших А. И. Одоевского.

Но как оказался портрет Одоевского в этой тетради поэта? И как же все-таки волосы на портрете, остри-





А. И. Одоевский.  
Литография А. Скино с оригинала  
Н. А. Бестужева (между 1827—1833)

женные «в кружок»? И длинный, почти до груди свисающий ус? Ведь не носил же на самом-то деле блестящий столичный конногвардейский офицер князь Одоевский усы и прическу украинского казака! Не носил, разумеется. Но и поэт Александр Сергеевич Пушкин, нарисовавший себя на черновике «Андрея Шенье» в конском облике, также лошадью не был. Этот удивительный автопортрет может служить своего рода ключом к отгадке подобных художественских «мистификаций» Пушкина. Двуединость природы пушкинского рисунка, органичность слияния в его авторе художника и поэта, «примеряющего» на себя или какое-то другое лицо персонажей своего литературного творчества, художественные образы, еще только долженствующие явиться на свет, объясняют эти «странности», а точнее, особенности пушкинской графики. Поэтому не будем смущаться неожиданных для Александра Одоевского прически (впрочем, строго говоря, это все же не стрижка «в кружок») и формы усов на портрете, а постараемся уяснить для себя их «законность» на этом рисунке, появившемся в окружении текстов «Полтавы», которую поэт писал, как, может быть, никакое другое свое произведение, в состоянии всепоглощающего творческого сосредоточения на ней. «Он (Пушкин.— Л. К.) говорил,— вспоминает один из современников поэта,— что... осенью овладевал им бес стихотворства, и рассказывал по этому поводу, как была им написана... «Полтава». Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом сла-



А. И. Одоевский.  
Карандаш. Рисунок неизвестного художника

гались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего разобрать...»<sup>4</sup> Удивительно ли, что портрет, нарисованный Пушкиным среди черновиков «Полтавы», обрел некие малороссийские реалии, за-

труднившие, естественно, его иконографическое отождествление с Одоевским?

Кстати, нелишне отметить, что «открытый, живой, умный взгляд» Александра Одоевского, который особенно выделяет во внешности друга барон Розен, в этом пушкинском рисунке как раз передан превосходно.

Не должно смущать нас и появление портрета в рукописях 1828—1829 годов. Вероятно, где-то в это же время поэт узнал стихотворный ответ Одоевского на посланье свое к декабристам в Сибирь, и не забудем, что именно в черновиках «Полтавы» находятся знаменитые рисунки Пушкина, посвященные — если можно в этом случае так выразиться — казни декабристов. Страшные рисунки, говорящие о неотступных мыслях поэта о декабристах, об их судьбах и мученичестве, ими принятом. На листе 38 об., как раньше в рукописи 1826 года, — две виселицы с пятью казненными декабристами. Виселица, повешенные и на листах 39 и 43 об.

Эти рисунки были известны давно. А недавно, как мы знаем теперь, в начале «полтавской» тетради (л. 3) найдены такие же, как и Одоевского, профильные карандашные портреты декабристских друзей поэта: князя Сергея Григорьевича Волконского и Николая Раевского-сына. Не случайное, надо думать, и знаменательное «сближение»... Целый графический декабристский цикл!



Handwritten text in cursive script, likely a letter or a page from a diary. The text is mostly illegible due to fading and blurring, but some words are discernible, including "Dag" (Day) and "Kunst" (Art). The text appears to be a mix of German and possibly other languages, with some lines crossed out.



*Александр Сергеевич*  
**ГРИБОЕДОВ**

~~For~~ ~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

~~the~~ ~~purpose~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~present~~ ~~document~~

Amos

March 1828

College, Pa. S.



*[Faint, mostly illegible handwriting in the upper half of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*

10

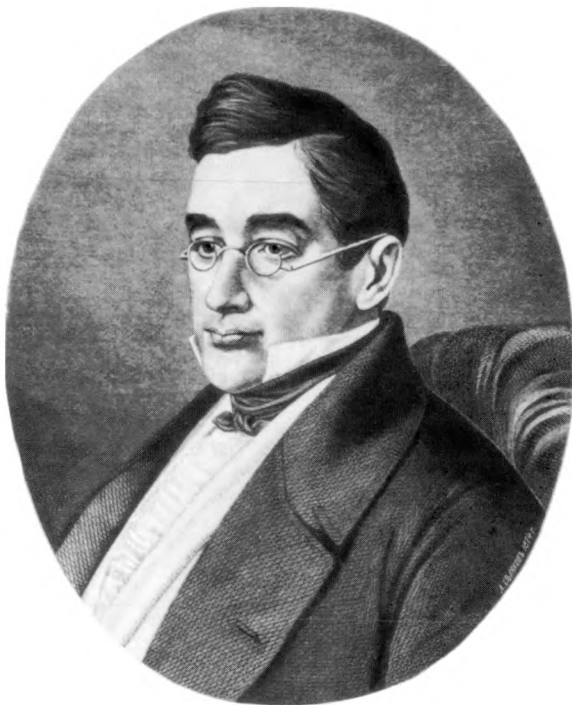
Несколько лет назад все в той же «полтавской» тетради поэта в красном бумажном переплете, там, где впервые легли на бумагу строки одного из самых прославленных стихотворений классической русской лирики — строки «Предчувствия» («Снова тучи надо мною...»), — были атрибутированы два профильных портрета Грибоедова<sup>1</sup>, нарисованные пушкинскою рукою. находка эта помогла отчетливее увидеть и понять некоторые обстоятельства и подробности творческой истории создания знаменитого стихотворения, а также увидеть в некотором новом освещении факты из жизни обоих великих поэтов.

Портреты находятся в правом верхнем углу тринадцатого листа тетради, левую сторону которого занимает автограф неоконченного стихотворения «Увы! Язык любви болтливой...», а правую — черновой карандашный автограф «Предчувствия». Эти два мужских профиля сразу же привлекают внимание своей несомненною «парностью». Мы видим изображенным на них одно и то же лицо с несколько разным выражением. Сосредоточенный взгляд прикрытых очками живых умных глаз, характерные линии твердого рта и подбородка. Рисунки определены художником Юрием Леонидовичем Керцелли как портреты Грибоедова, и — что особенно интересно — они оказались последними прижизненными изображениями поэта, сделанными Пушкиным, по всей вероятности, в скором времени после отъезда Грибоедова из Петербурга ранним летом 1828 года. Пушкин запечат-

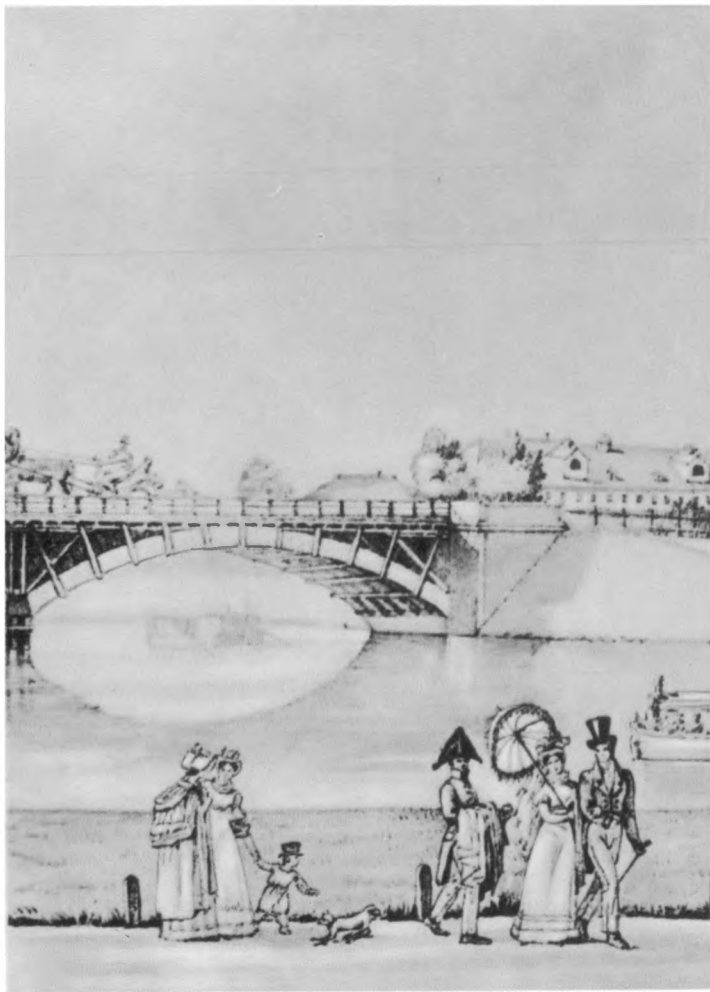


лел в них и донес до нас такой облик великого своего современника и собрата, каким он видел и понял его в те последние дни их дружеского общения в Петербурге, за несколько месяцев до трагической гибели Грибоедова. Формально оба пушкинских наброска во всем очень схожи с другими известными портретами Грибоедова, и прежде всего с портретом Е. Эстеррейха, послужившим оригиналом для знаменитой гравюры Н. Уткина (1829 г.) и более позднего пастельного портрета Робильяра. Но Пушкин рисует Грибоедова не столько таким, каким многие в то время могли наблюдать его, сколько таким, каким Пушкин з н а л, то есть угадал и почувствовал его. Поэтому непроработанные, одномоментные, надо думать, портреты эти не просто дополняют имеющуюся иконографию Грибоедова, но прежде всего должны быть оценены как существенное качественное ее пополнение.

Оба портрета, расположенные над начальными строками «Предчувствия» и исполненные тем же карандашом, что и поэтический текст, несомненно, легли на бумагу одновременно со строками стихотворения. Об этом свидетельствует не только одинаковый карандаш, но и интенсивность штриха, и самая композиция страницы тетради. И простой этот факт, сопоставленный с известными биографическими фактами, хорошо знакомыми исследователям жизни и творчества обоих великих поэтов, дает основание полагать, что портреты на данном листе рабочей пушкинской тетради далеко не случайны. Между поэтическим текстом и рисунками, между проникнутою тревожными раздумьями лирикою «Предчувствия» и воссозданным графически обликом Грибоедова существует сопряженность не опосредованная, а вполне и психологически, и логически, и творчески, и даже ситуативно закономерная.



**А. С. Грибоедов.**  
Гравюра Л. Серякова с гравюры Н. Уткина.  
1874 г.



Дачи Миллера на Черной речке.  
Литография. 1820-е гг.



В академическом издании Полного собрания сочинений Пушкина стихотворение «Предчувствие» датируется «предположительно августом 1828 года». Т. Г. Цявловская в статье «Дневник Олениной» высказала в свое время другое предположение. «Ряд данных, — писала она, — заставляет перенести его («Предчувствие». — Л. К.), с большой долей вероятия, несколько ранее и датировать июнем 1828 года»<sup>2</sup>. Поправка Т. Г. Цявловской, как нам кажется, находит убедительное подтверждение. Если исходить из местоположения чернового (карандашного) автографа «Предчувствия» в тетради, можно и еще несколько уточнить дату его появления — это один из дней после 25 июня<sup>3</sup>. Ведь на листе тринадцатом, где находятся портреты Грибоедова, мы видим черновую запись не всего «Предчувствия» — окончание его только на семнадцатом листе тетради, а на листе шестнадцатом (на обороте), слева от черновых строк стихотворения «Волненьем жизни утомленный», есть сделанная Пушкиным запись «25 июня» и под нею несколько заметок дневникового характера. Эта последняя на этих листах тетради рукою Пушкина проставленная дата дает (наряду, конечно, с некоторыми другими данными) известное основание для хронологического определения всей близлежащей группы текстов. На листе семнадцатом (на обороте) находится последняя в этом месте тетради чернилами сделанная запись — автограф первого чернового варианта стихотворения «Воспоминания в Царском Селе»<sup>4</sup>. Затем следуют текст и рисунки опять карандашные. По всей вероятности, Пушкин начал писать в этом месте тетради карандашом сразу же после 25 июня. И первая запись — автограф «Предчувствия». Полупустым оставался тринадцатый лист — и Пушкин рисует на нем Грибоедова и пишет начальные строки «Предчувствия». Далее до семнадцатого листа (на листе 15

сбоку справа есть две карандашные строки «Предчувствия») все оказывается заполненным чернилами, и лишь половина семнадцатого листа имеет свободное место — здесь ложатся последние строки «Предчувствия».

Такой представляется временная последовательность появления этой группы автографов Пушкина, если исходить из их положения в тетради. А если обратиться к свидетельствам другого рода — к известным фактам биографии поэта, к письмам его друзей и современников, к архивным документам, к ряду косвенных данных? Как раскроют нам они историю и время появления этих портретов Грибоедова?

Весна 1828 года застаёт Пушкина в Петербурге. Он много бывает в свете и особенно часто — в доме А. Н. Оленина, где постоянно встречается с Грибоедовым, Вяземским, Крыловым, Мицкевичем. В младшую дочь Оленина, Анну, Пушкин влюблен. Она восхищает поэта настолько, что он мечтает о ней как о будущей жене своей и надеется, что именно эта девушка сможет составить «счастье его жизни». «Ангел кроткий, безмятежный», — обращается к ней Пушкин в стихотворении, полном глубоких раздумий о судьбе, о «завистливом роке», грозящем поэту бедою. «Какой задумчивый в них гений, /И сколько детской простоты...» — восторгается он глазами Олениной, вновь и вновь называя ее своим ангелом.

Но как раз ангелом-то, безмятежным и кротким, Анна Оленина не была. Как не было в ней, пожалуй, и «детской простоты». Детская простота, скорее, была у самого поэта, безрассудно мечтавшего о том, что избалованная поклонением и вниманием общества фрейлина предпочтет его, сочинителя Пушкина (пусть и первого поэта России), тем бывавшим в их доме светским молодым людям, в которых она со свойственной ей холодной рассудочностью видела потенциаль-

ных женихов для себя. Анна Алексеевна тоже думала о браке, но о браке не с влюбленным в нее поэтом, а о браке вообще, о «приличном», подобающем ей по ее положению в свете браке. Страницы дневника А. А. Олениной, изданного в 1936 году в Париже ее внучкою Ольгою Николаевной Оом, сплошь заполнены такого рода матримониальными рассуждениями и планами.

«Тетушка (Варвара Дмитриевна Полторацкая.— Л. К.) уехала более недели, я с нею простилась, и... мне было очень грустно. Она обещала быть на моей свадьбе и с таким выразительным взглядом это сказала, что я очень, очень желаю знать, о чем она тогда думала. Ежели брат ее (Николай Дмитриевич Киселев.— Л. К.) за меня посватается, возвратясь из Турции, что сделаю я? Думаю, что выйду за него»<sup>5</sup>,— пишет в своем дневнике Оленина 7 июля 1828 года. И 17 июля возвращается снова к тому же: «...Я после обеда разговорилась с Иваном Андреевичем Крыловым о наших делах. Он вообразил себе, что двор вскружил мне голову и что я пренебрегала бы хорошими партиями, думая выйти за какого-нибудь генерала.

В доказательство, что я не простираю так далеко своих видов, я назвала ему двух людей, за которых бы вышла, хотя и не влюблена в них: Мейендорфа и Киселева»<sup>6</sup>. И чуть далее: «Я всегда думала, что Варвара Дмитриевна (сестра Н. Д. Киселева.— Л. К.) того же хотела (т. е. брака своего брата с Олениной.— Л. К.), но не думала, чтобы она скрыла от меня эту тайну. Жаль, очень жаль, что не знала я этого, а то бы поведение мое было иное. Но хотя я и думала иногда, что Киселев любит меня, но не была довольно горда, чтобы то полагать наверное. Но, может быть, все к лучшему! Бог решит судьбу мою. Я сама вижу, что мне пора замуж: я много стою родителям. Пора, пора мне со двора»<sup>7</sup> и т. д.

Однако Пушкин любил эту девушку. И пока не получил отказа от ее родителей, продолжал надеяться. Он писал ей стихи и без конца рисовал ее профиль в черновиках своих рукописей.

Интересный эпизод, относящийся к лету 1828 года, рассказан в «Записках» Михаила Ивановича Глинки, у которого (тогда еще молодого, начинающего музыканта и композитора) Анна Оленина брала уроки пения.

«Около этого же времени,— пишет Глинка о лете 1828 года,— я часто встречался с известнейшим поэтом нашим Александром Сергеевичем Пушкиным... и пользовался его знакомством до самой его кончины.

Провел около целого дня с Грибоедовым (автором комедии «Горе от ума»). Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс «Не пой, волшебница, при мне»<sup>8</sup>.

«Напевая однажды грузинскую мелодию, привезенную в Петербург Грибоедовым и обрабатываемую Глинкой, Оленина взволновала Пушкина далеким воспоминанием,— пишет Т. Г. Цявловская в статье «Дневник Олениной». — Отсюда родилось его лирическое стихотворение:

Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной:  
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальний...

Написаны были эти стихи 12 июня 1828 года»<sup>9</sup>.

Но вернемся немного назад — к маю 1828 года. 9 мая Пушкин вместе с Олениными едет на пароходе (пироскафе, как тогда говорили) морем в Кронштадт. Этим днем датируется обращенное к Анне Олениной лирическое стихотворение «Увы! Язык любви болтливой...», черновая запись которого занимает левую сто-



рону листа тринадцатого, где находятся портреты Грибоедова.

Две недели спустя, 25 мая, Пушкин вновь вместе с Олениными участвует в увеселительной поездке морем в Кронштадт. На этот раз дружескую компанию, собравшуюся на пароходе, кроме Пушкина и Олениных составили Грибоедов, Вяземский, Н. Д. Киселев, П. Л. Шиллинг.

Об этой поездке, должно быть, надолго оставшейся в памяти поэта, мы знаем из письма П. А. Вяземского к жене от 26 мая 1828 года, а также письма А. А. Олениной к Вяземскому от 18 апреля 1857 года, где она вспоминает события, давно прошедшие: «Помните ли вы то счастливое время, где мы были молоды, и веселы, и здоровы! Где Пушкин, Грибоедов и вы сопутствовали нам на невском пароходе в Кронштадте...»<sup>10</sup>

Анна Алексеевна запомнила эту прогулку как безоблачно-радостное, увлекательное времяпрепровождение («Ах, как все тогда было красиво и жизнь текла быстрым шумливым ручьем...»<sup>11</sup>), а Пушкин следующий день, 26 мая, — день своего рождения, отметил, пожалуй что, самым мрачным своим стихотворением — «Дар напрасный, дар случайный», которое написал, если и не именно 26-го, то все же в один из ближайших к нему дней.

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?

«Пушкин дуется, хмурится», — свидетельствует Вяземский, описывая жене поездку на пароходе 25 мая.

Небезмятежное, невеселое настроение Пушкина разделял, всроютно, среди шумной и дружной компании и другой великий поэт — Александр Грибоедов.

Многие современники (Полевой, А. А. Жандр и другие) вспоминали впоследствии о том, как печален и сумрачен был Грибоедов все последнее время своего пребывания в свете перед отъездом на юг, чтобы следовать далее, в Персию. Тяжелые мысли не оставляли его со дня назначения министром-резидентом. Указ Сенату об учреждении миссии и генерального консульства в Персии был подписан 25 апреля, а 6 июня Грибоедов, побуждаемый министерством двора поскорее приступить к обязанностям полномочного посланника, покидает Петербург — уже навсегда! — как и предчувствовал и говорил об этом друзьям своим и близким знакомым.

Грибоедов хорошо понимал, что высокий пост министра-резидента для него не просто почетное назначение. Его посылали туда, где опасно. По свидетельству одного из близких друзей его, С. Н. Бегичева, Грибоедов сказал ему как-то: «Старался я отделаться от этого посольства. Министр сначала предложил мне ехать поверенным в делах, я отвечал ему, что там нужно России иметь полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Министр улыбнулся и замолчал, полагая, что я по честолюбию желаю иметь титул посла. А я подумал, что т у ч а п р о ш л а м и м о (разрядка моя.—Л. К.) и назначат кого-нибудь чиновнее меня, но чрез несколько дней министр присылает за мной и объявляет, что я, по высочайшей воле, назначен полномочным послом. Делать было нечего!..»<sup>12</sup>

Поездка 25 мая 1828 года на пароходе — одна из последних, если не самая последняя встреча Пушкина с Грибоедовым.

Во второй главе «Путешествия в Арзрум», описывая, как он встретил близ одной армянской деревни тело убитого Грибоедова, Пушкин вспоминает: «Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом

его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия».

Был печален и имел странные предчувствия!

Не этот ли образ поэта, беспокойная, драматичная, многотрудная судьба которого во многом складывалась так же, как и его собственная, связан у Пушкина с размышлениями о «завистливом роке», вновь угрожающем ему очередной бедою?

Снова тучи надо мною  
Собралися в тишине;  
Рок завистливый бедою  
Угрожает снова мне...

«Я подумал, что туча прошла мимо...» — сказал Грибоедов С. Н. Бегичеву, рассказывая о своем роковом назначении. «Снова тучи надо мною...» — начинает свое стихотворение Пушкин. Совпадение? Возможно, конечно. Но вполне могло быть и так, что нечто подобное, и даже в тех же выражениях (т у ч а!), говорил Грибоедов и Пушкину...

А теперь прислушаемся, как говорит, вспоминая о Грибоедове, Пушкин:

«Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случилось им говорить о нем как о человеке необыкновенном».

Не многое ли из того, что сказал Пушкин о Грибоедове, мог бы сказать он и о себе самом? Вспомним, какие обстоятельства, помимо тревог и сомнений неразделенной любви, волновали поэта в то совсем не



А. С. Грибоедов.  
Гравюра Н. Уткина с оригинала Е. Эстеррейха.  
1829 г.

спокойное для него время. Светская жизнь — пикники, увеселительные прогулки по морю, литературные обеды и вечера, встречи с друзьями — это с одной стороны. А с другой — продолжающееся расследование по начатому еще в 1826 году делу о распростране-

нии запрещенного цензурой отрывка из элегии «Андрей Шенье», исподволь назревавшее в правительственных сферах новое дело о «Гавриилиаде».

«Ты зовешь меня в Пензу,— пишет Пушкин 1 сентября 1828 года в письме князю Петру Андреевичу Вяземскому,— а того и гляди, что я поеду далее.

Прямо, прямо на восток».

Но и в начале лета, когда официальные правительственные, против него, Пушкина, направленные акции еще не были свершившимся фактом, поэт не мог не ощутить нагнетения напряженной, враждебной ему атмосферы. Не мог хотя бы потому, что в рассмотрении его «дел» принимали участие лица, достаточно близкие к нему, и прежде всего А. Н. Оленин, отец Анны Алексеевны. Как статс-секретарь Департамента гражданских и духовных дел, на заседании которого 11 июня 1828 года был заслушан доклад Сената по делу о распространении стихов из «Андрея Шенье», А. Н. Оленин участвует в этом заседании, а спустя две недели, 28 июня, он вместе с другими сановниками подписывает по этому делу решение Государственного совета, утвержденное месяц спустя Николаем I. Решение это, по отношению к поэту крайне суровое, предписывало иметь за Пушкиным «в месте его жительства секретный надзор».

Тягостные мысли о грядущих новых невзгодах, всех этих в высшей степени оскорбительных и небезопасных для него расследованиях, о необходимости объясняться, оправдываться, вообще входить в соприкосновение со сферами, глубоко ему чуждыми и враждебными, мысли о неустроенности личной жизни, о пределах духовных сил своих, вполне вероятно, и привели Пушкина к Грибоедову, к его образу, к разговорам их и беседам, когда произнесено было — и не однажды, быть может, — и само это слово — предчувствие.

В пользу такого предположения свидетельствуют и некоторые сугубо материального, так сказать, плана данные, например, композиция тетрадного листа, где находятся профили Грибоедова. Портреты, по-видимому, сделаны не раньше стихотворного текста, а после него — один из них, верхний, нашел на чернильную запись «9 мая 1828. Море. Ол.〈енина или: Оленины〉 Дау» и пришелся как раз под обрез, что может быть признаком отсутствия на странице свободного, незаполненного места.

Интересно наблюдение Т. Г. Цявловской о столь часто встречающихся у Пушкина дважды, трижды повторенных портретах одного и того же лица: «Профиль ложится на бумагу под рукой Пушкина уверенно, сразу... Эти быстрые наброски являются выразительными портретами с меткими характеристиками. Если Пушкин бывал доволен тем, как схоже он изобразил лицо, он с радостью повторял его другой и третий раз, варьируя детали...»<sup>13</sup>

Оба профиля Грибоедова, безусловно, являются «выразительными портретами с меткими характеристиками». Правда, повторяя профиль, Пушкин не столько на этот раз варьировал детали (хотя это тоже — на втором, верхнем, портрете появляются воротник, и прическа, и галстук), сколько изменил выражение иронического лица, придав тем же чертам чуть-чуть большую сухость, печальность, сосредоточенную углубленность живому и острому взгляду. И к тому же на верхнем портрете Грибоедов выглядит более старым (вспомним, многие современники отмечали, что последние годы тяжелой службы на Востоке сильно состарили Грибоедова). Несколько запавшая верхняя губа, чуть опущенный вниз уголок рта — достигнуть такого точного эффекта столь минимальными средствами под силу лишь дарованию органично талантливому.

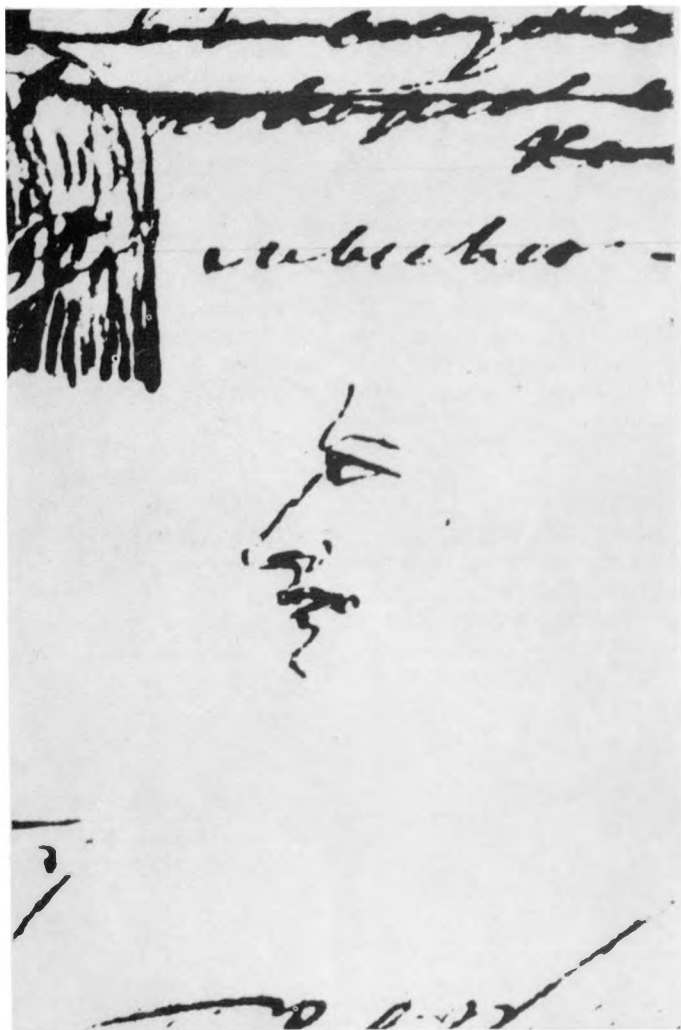
«Дошедшие до нас портреты Грибоедова,— пишет Н. К. Пиксанов,— не передают выражения его подвижной физиономии и «пронзительных» глаз»<sup>14</sup>. И действительно, если не считать недостаточно хорошо известных еще в те годы, когда писал эти строки Пиксанов, очень интересных пушкинских портретов Грибоедова, опубликованных и атрибутированных А. М. Эфросом и Т. Г. Цявловской, все имеющиеся портреты профессиональных художников не дают нам того ощущения точно угаданной и воссозданной в изобразительном образе сущности характера, интеллекта и отчасти, пожалуй что, даже и психики гениального поэта и «одного из самых умных людей в России», которые прежде всего поражают нас в рисунках Пушкина. Здесь-то мы уж не можем не видеть «пронзительные» глаза Грибоедова, его скептицизм, его сдержанность и внутреннюю самоуглубленность умудренного жизнью и опытом человека.

Мысли о Грибоедове не оставляли Пушкина, когда писались им строки «Предчувствия», и поэт непосредственно, тут же, воспроизводит его образ в графических вариантах, как бы следующих за его размышлениями. И не на грибоедовские ли, кстати, портреты похож легкий контурный набросок карандашом мужского лица с как бы застывшим в немом крике раскрытым ртом, расположенный в верхнем левом краю того же тетрадного листа? Твердый подбородок, характерный тонкий нос — не те же ли это черты, интерпретированные как своего рода трагическая маска?

Стремясь со всею тщательностью восстановить событийную сторону истории появления портретов Грибоедова, главным мы полагаем все же установление глубокой внутренней, творческой связи между строками «Предчувствия» и портретами. Любое однозначное толкование связи как определенно-последовательного во времени акта, связи собственно вещной не может

иметь в этом случае значения решающего. Поэтический ли ход мысли привел Пушкина к изображению образа Грибоедова или рисунки, возникшие изначально, навели его на размышления о собственном его, Пушкина, «роке», о «презренье» его к т а к о й судьбе?.. Нам легко допустить в данном случае и иную в деталях своих ситуацию: раскрыв как-то наполовину пустую страницу тетради, где последняя запись была: «9 мая 1828. Море. Ол. (енина или: Оленины) Дау», — поэт живо воссоздал в памяти своей другую морскую прогулку, ту, 25 мая, где вместе с ним был Грибоедов, где говорил он ему о своих неотступных и мрачных предчувствиях, где и сам он невесел был, Пушкин, как невесел теперь, когда в руки он взял карандаш... Несомненно, могло быть и так, но меняет ли что-нибудь это? Важно другое — здесь, на этой странице тетради, и рисунки и текст — в непосредственной творческой связи. И это дает нам счастливую возможность проследить за двуединым поэтическим и изобразительным творческим процессом гениального поэта-художника, полнее понять мир его ощущений, забот, настроений и мысли.







*Адам*  
**МИЦКЕВИЧ**

1800 (181) 1818

1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818

1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818

1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818



1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818  
1800 (181) 1818

1800 (181) 1818

1800 (181) 1818

«В жизни поэта день на день, минута на минуту не приходится. Одни мелкие умы... прикрепляясь к какой-нибудь частности, подводят ее под общий знаменатель»<sup>1</sup>.

Очень простая мысль эта очевидною и простотою своею вроде бы делает излишним формальное цитирование. Вроде бы — да, но не делает вовсе. Высказывание принадлежит Петру Андреевичу Вяземскому. Поэту, литератору, критику. Близкому другу Пушкина. Да и сказано это о нем, о Пушкине. И хоть не важно для нас в данном случае, по какому поводу, но важно, что сказано. И важно вот почему.

Май — июнь 1828 года. Для отечественной нашей литературы время это отмечено рождением поэтических произведений, появлением строк, ставших выражением высочайших художественных достижений русской словесности, воплотивших в себе и ее высокие искания и глубокую психологичность, ее совесть, ее нравственность, ее поразительную пластичность, — строк, с особою очевидною выявивших многосторонность личности и натуры их автора, многогранность его гения, исключительно не только по масштабам художественного дарования.

Когда для смертного умолкнет шумный день  
И на немые стогны града  
Полупрозрачная наляжет ночи тень  
И сон, дневных трудов награда,  
В то время для меня влачатся в тишине  
Часы томительного бденья:  
В бездействии ночном живей горят во мне  
Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток;  
И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклинаю,  
И горько жалеюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

Это стихотворение написано Пушкиным 19 мая 1828 года. В черновике оно имеет продолжение:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,  
В безумстве гибельной свободы,  
В неволе, бедности, изгнании, в степях  
Мои утраченные годы.

. . . . .  
Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,  
Решенья глупости лукавой,  
И шепот зависти, и легкой суеты  
Укор веселый и кровавый...

Однако «в жизни поэта день на день, минута на минуту не приходится» — и рядом с драматическим, напряженным до предела «Воспоминанием» на том же листе тетради появляются нежные, легкие строки обращенного к А. А. Олениной стихотворения «Ты и вы»:

Пустое *вы* сердечным *ты*  
Она обмолвясь заменила,  
И все счастливые мечты  
В душе влюбленной возбудила.  
Пред ней задумчиво стою;  
Свести очей с нее нет силы;  
И говорю ей: как *вы* милы!  
И мыслю: как *тебя* люблю!

«Ты и вы» написано 23 мая, а 26 мая, день своего рождения, поэт отметил стихотворением, быть может, самым сумеречным из всех когда-либо им написанных:

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомнением взволновал?..

Цели нет передо мною:  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум.

«Как можно описывать внешнюю жизнь человека... когда... самое важное — это его духовная жизнь,— сказал Лев Толстой.— Описание внешней жизни так не соответствует тому громадному значению, какое имеет в жизни внутренняя работа». Вот почему, должно быть, вовсе для нас не удивительно, что за две страницы до этих исполненных безграничного отчаяния пушкинских строк, в той же его рабочей тетради, 9 мая, на бумагу легло обращенное также к Олениной и также проникнутое большой нежностью стихотворение, известное по начальной его строке — «Увы! Язык любви болтливой...».

Увы! Язык любви болтливой,  
Язык неполный и простой,  
Своею прозой нерадивой  
Тебе докучен, ангел мой.

. . . . .  
Тебя страшит любви признание,  
Письмо любви ты разорвешь,  
Но стихотворное посланье  
С улыбкой нежною прочтешь.  
Благословен же будь отныне  
Судьбою вверенный мне дар...

Так было в мае. Но так же и в июне.



Адам Мицкевич.  
Карандаш. Рисунок И. Шмеллера. 1829 г.

К тебе собирался я давно  
В немецкий град, тобой воспетый,  
С тобой попить, как пьют поэты,  
Тобой воспетое вино...

(К Языкову)

И вскоре — «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною  
Собралися в тишине;  
Рок завистливый бедою  
Угрожает снова мне...

Поистине «в жизни поэта день на день, минута на минуту не приходятся». И все же... И все же для Пушкина это были «дни» и «минуты» крайне тревожные, беспокойные, напряженные и — вдохновенные. Осенние благодатью «божественного глагола». Томительное ожидание, предчувствие новых бед, новых гонений и утеснений со стороны двора (в это время как раз заканчивалось расследование по делу о распространении запрещенного цензурой отрывка из «Андрея Шенье» и завязывалось дело новое — о «Гавриилиаде») сменялись часами любовных томлений и надежд, часами дружеского творческого общения с жившими в ту пору в Петербурге поэтами Адамом Мицкевичем и Грибоедовым, жизнь и судьбы которых так во многом были схожи с судьбою и жизнью его собственной.

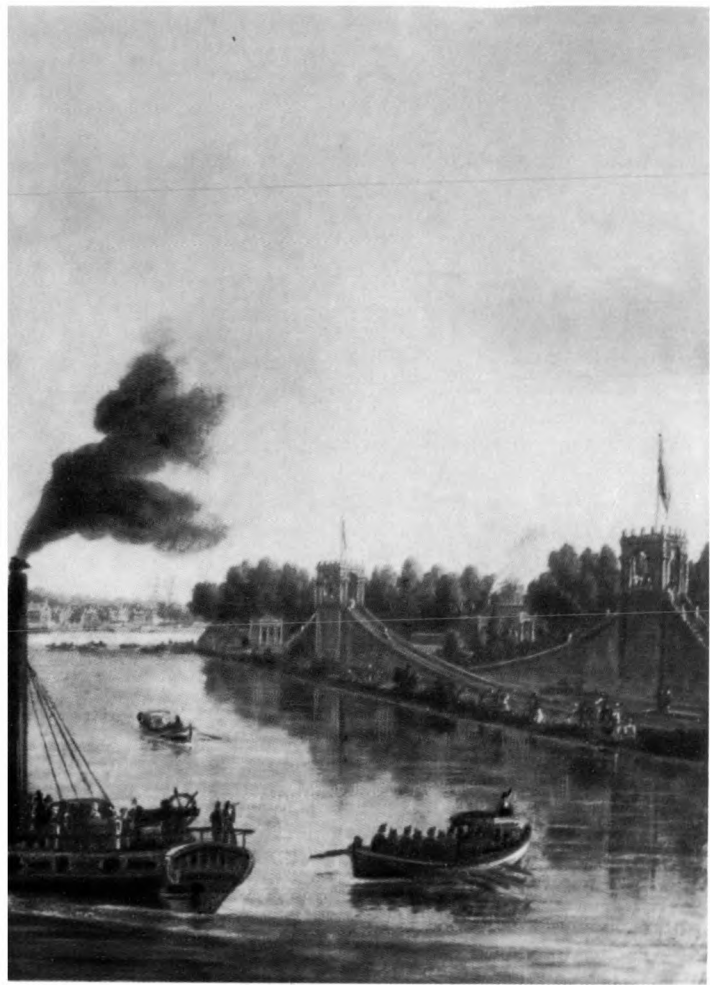
«Одни мелкие умы... прикрепляясь к какой-нибудь частности, подводят ее под общий знаменатель»...

Мадригал и медитация, высокая гражданственность и интимная лирика — все это вместе составляло неделимую на «частности» творческую жизнь поэта летом 1828 года, года, быть может, одного из самых трагичных, тревожных и плодотворных во всей его жизни. Еще в апреле была им задумана и начата «Полтава»,





Вид петербургских островов и Невы  
с одним из первых русских пароходов.  
Художник Т. А. Васильев (?). 1820 г.



а незадолго до того все в той же тетради, где записаны «Воспоминание», «Предчувствие», «Полтава», в той же тетради писались и строфы VII главы «Онегина». И еще в мае поэт «публично» читал своего «Бориса Годунова». И тут же в столице, в это же самое время, в высоких придворных и великосветских сферах выносились ему «решенья глупости лукавой». Решенья, со стороны правительственных кругов приведшие к учреждению за поэтом тайного политического надзора.

Сомнения и муки неразделенной любви к избалованной поклонением Анне Олениной, политические расследования и утеснения, светские рауты, а над всем этим — тесное дружество с братьями по духу и призванию — Адамом Мицкевичем и Грибоедовым, — не потускневшая еще к этому времени дружба с Вяземским. Поэты встречаются часто, порою и ежедневно. Импровизируют, беседуют о событиях литературных и политических, постоянно бывают в доме Олениных, где сосредоточивалась в это время литературно-художественная жизнь светского Петербурга.

16 мая в доме графа Лавалья (отца Е. И. Трубецкой, жены декабриста С. П. Трубецкого, последовавшей за мужем в Сибирь) Пушкин читает перед Мицкевичем, Грибоедовым, Вяземским «Бориса Годунова». «Вчера Пушкин читал свою трагедию у Лаваль, — пишет Вяземский жене Вере Федоровне 17 мая из Петербурга, — в слушателях были две княгини Michel (П. А. и М. А. Голицыны. — Л. К.), Одоевская-Ланская (О. С. Одоевская, жена писателя и музыкального деятеля В. Ф. Одоевского. — Л. К.), Грибоедов, Мицкевич, юноши (Андрей и Александр Карамзины, сыновья историографа. — Л. К.)... Кажется, все были довольны... В трагедии есть красоты первостепенные. Я несколько раз слушал ее со вниманием, и всегда с новым, то есть свежим, удовольствием»<sup>2</sup>.

В другом письме Вяземский сообщает жене, как 20 мая ездил с Мицкевичем на дачу к Олениным в Приютино, под Петербургом: «Ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню, в Приютино, верст за 17. Там ⟨нашли⟩ мы и Пушкина...»<sup>3</sup>

В этот день А. А. Оленина, обращаясь к Пушкину, оговорила: она сказала ему «ты» вместо «вы» — и он, возвратившись, пометил в своей рабочей тетради на листе, где 19 мая закончил вчерне «Воспоминание», дату этой оговорки: «20 мая 1828 При⟨ютино⟩», записав тут же посвященное этому «событию» прелестное стихотворение «Ты и вы», под которым поставил дату — 23 мая. А 25 мая часть той же дружеской компании вместе с Олениными — отцом, дочерью и сыном Алексеем (известным в тесном кругу под прозвищем Junior) — отправляется на пароходе в Кронштадт. Свидетельства об этой поездке, как мы помним, есть и в письме к жене от 26 мая 1828 года все того же П. А. Вяземского, и в позднейшем письме к Вяземскому Анны Алексеевны Олениной (в ту пору уже Андро), в котором она вспоминает: «Помните ли вы то счастливое время... где Пушкин, Грибоедов и вы сопутствовали нам на невском пароходе в Кронштадте»<sup>4</sup>.

Можно привести и еще немало разного рода упоминаний и свидетельств, почерпнутых из эпистолярного и мемуарного наследия эпохи, о тесном общении и дружбе поэтов в эти летние месяцы 1828 года (например, письмо Вяземского к Н. А. Муханову от 15 мая 1828 года: «...В пятницу едем в Кронштадт с Мицкевичем, Пушкиным... и проч...»<sup>5</sup>). Но несравненно более интересными и всякий раз радостно неожиданными оказываются свидетельства самого Пушкина, пришедшие к нам, как и многое другое из современного нашего знания о нем, со страниц его рукописей.

Пушкинские черновики лета 1828 года — поистине неисчерпаемый источник информации не только о



Адам Мицкевич.  
Литография с оригинала В. Ваньковича 1828 г.

«внешней жизни» поэта, но и о его «жизни духовной». Над черновыми строками «Предчувствия» обнаруживаются «вдруг» сделанные пушкинской рукою два замечательных портрета Грибоедова. Дружба Пушкина с Мицкевичем, Грибоедовым, Вяземским этих дней петербургского лета не вычленилась из «самого важ-

ного» в нем — его «внутренней работы». Есть известная неслучайность в тех последовательных узнаваниях в нерасшифрованных до времени пушкинских рисунках портретов лиц, неотрывных от его глубоко напряженной интимной и творческой жизни — от раздумий его, поэтических замыслов, споров, привязанностей, смятений. В узнаваниях, которые меньше всего представляют собой заключительный акт детективного поиска, а больше — являются следствием представления, так сказать, умозрительного, психологически и логически обоснованного, следствием убеждения, что этих портретов не может не быть, не быть именно там, где они быть «должны».

Так, очень трудно было поверить, что нету здесь где-то в черновиках лета 1828 года портрета Мицкевича, от которого в это время Пушкин, по словам П. А. Вяземского, «был в восторге».

Не всегда, разумеется, наши поиски и надежды увенчиваются успехом. Но Мицкевич «нашелся». Нашелся там, где он «должен» был быть, — в самом близком соседстве с двумя грибоедовскими портретами, в той же самой рабочей тетради, всего двумя лишь листами их далее (ПД 838, л. 14 об.), между черновыми строками «Воспоминания» и строками стихотворения «Ты и вы», — на листе, представляющем собою одно из счастливых исключений в черновиках поэта, где собственноручно проставлены им сразу четыре даты: «18 мая у Княгини Голиц(ыной)»; «19 мая» (дата окончания «Воспоминания»); «20 мая 1828 При(ютино)» (дата пребывания поэта на даче Олениных и оговорки А. А. Олениной) и, наконец, «23 мая» (дата окончания стихотворения «Ты и вы»).

Рисунок Пушкина, находящийся посредине почти что этого листа, представляет собою профильное изображение очень своеобразного, утонченного лица его великого друга, воспроизводящее, как нам кажется,



Адам Мицкевич.  
Итальянский карандаш. Рисунок О. Кипренского.  
1824—1825

то самое знаменитое состояние вдохновения импровизирующего Мицкевича, которое так великолепно и образно описал впоследствии Вяземский, рассказывая об одной из особенно запомнившихся ему импровиза-

ций: «Поэт (Мицкевич.—Л. К.) на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное... Чуждый ему язык, проза более отрезвляющая, нежели упоющая, мысль и воображение, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная... Действие ее еще памятно, но, за неимением положительных следов, впечатления не передаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге»<sup>6</sup>.

Петр Андреевич Вяземский сетует на невозможность передать впечатление от блистательно импровизирующего художника «за неимением положительных следов». Но «положительные следы», хоть и не во всей первоначальной полноте своей, все же дошли до нас. Это и его, П. А. Вяземского, в высшей степени искусно переданное воспоминание, и, к великой радости нашей, отыскавшийся здесь наконец незаконченный, не проработанный вовсе, но удивительно непосредственный, легкий и художнически выразительный профильный набросок лица Вдохновенного, уединившегося для сотворения таинства поэзии «во внутреннем святилище своем». Рисунок Пушкина передает и изящную тонкость, и благородство поэтического внешнего облика друга, характерную удлиненность очень подвижного, артистического лица его, и тот оттенок меланхолического, по свидетельству Вяземского, выражения, который странным образом сочетался с «веселым складом» его манеры вести себя в обществе, быть всегда искрометно-живым, остроумно-блестящим и легким.

«Все в Мицкевиче возбуждало и привлекало сочувствие к нему,— пишет Вяземский.— Он был очень умен, благовоспитан, одушевителен в разговорах, об-





Адам Мицкевич.  
Литография с оригинала В. Ваньковича. Около 1830 г.

хождения утонченно-вежливого. Держался он просто, то есть благородно и благоразумно... При оттенке меланхолического выражения в лице, он был веселого склада, остроумен, скор на меткие и удачные слова. Говорил он по-французски не только свободно, но изящно и с примесью иноплеменной поэтической ори-

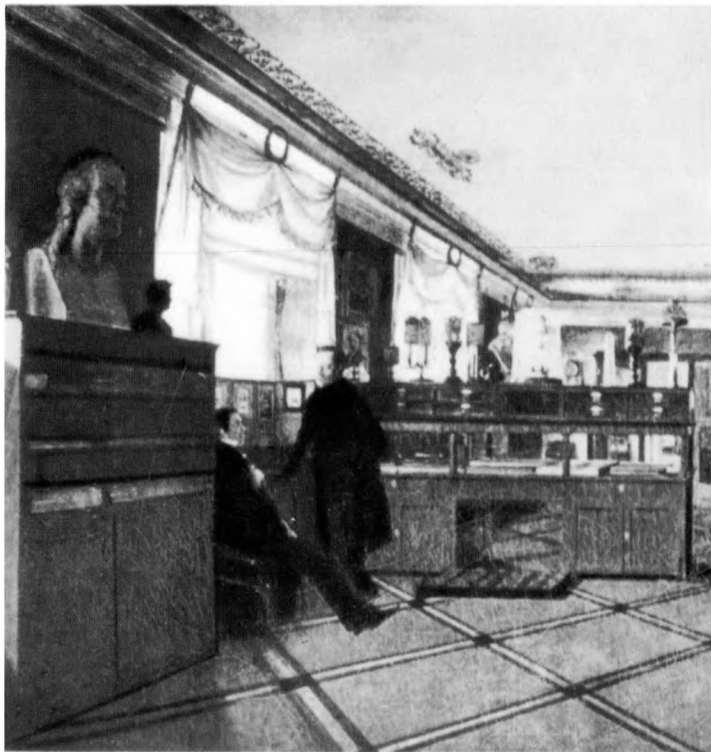
гинальности, которая оживляла и ярко расцвечивала речь его...»<sup>7</sup>.

Разумеется, неоконченный набросок не в состоянии передать всего многообразия впечатлений, производимых на современников обаятельнейшим обликом польского поэта. Но, глядя на тонкий, уверенно и изящно очерченный рисовальщиком Пушкиным профиль его, мы как бы с большею полнотой проникаем в смысл постоянно варьируемого эпитета «вдохновенный», которым так единодушно и щедро награждали своего друга русские поэты — Баратынский, Вяземский, Пушкин.

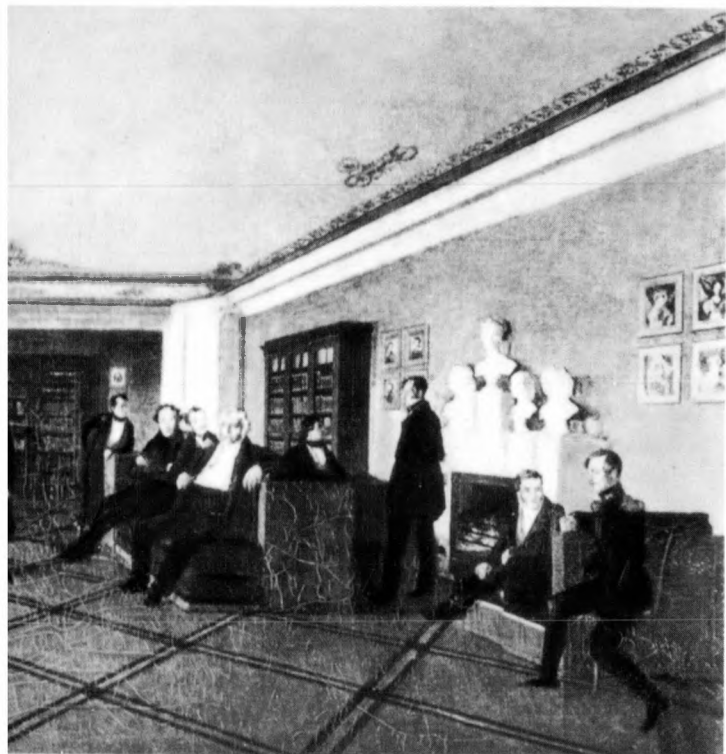
Иконографически же атрибуция публикуемого пушкинского рисунка подтверждается сравнением не только с известными портретами Мицкевича этого периода (например, с портретом работы В. Ваньковича, 1828 г., или рисунком И. Шмеллера, 1829 г.), но и с определенным не так давно В. С. Лаврентьевым пушкинским изображением Мицкевича на черновике посвященного польскому поэту стихотворения Пушкина 1834 года «Он между нами жил...»<sup>8</sup>.

Интересно воспоминание Александры Осиповны Смирновой-Россет, бывшей в дружеских отношениях не только с Пушкиным, Вяземским и всем почти кругом близких к ним в ту пору людей, но впоследствии очень дружившей и с Гоголем, о чем она довольно подробно сообщает в оставленных ею автобиографических записях. «Гоголь,— читаем мы в ее «Автобиографии»,— к нему (Мицкевичу.— Л. К.) поехал в Карлсруэ. Вернувшись, он мне сказал, что Мицкевич постарел, вспоминает свое пребывание в Петербурге с чувством благодарности к Пушкину, Вяземскому и всей литературной братии...»<sup>9</sup>

Дружеские общения, взаимный острый интерес друг к другу, долгие часы, проведенные вместе, отнюдь не исчерпывали взаимоотношений между Пушкиным



**Собрание у В. А. Жуковского.  
Г. К. Михайлов, А. Н. Мокрицкий  
и другие художники  
школы А. Г. Венецианова.  
1834—1835**





Московский въезд.

Гравюра Гоберта по рисунку А. М. Горностаева. 1834 г.

и Мицкевичем. Широко известны восторженные отзывы Пушкина о поэзии Мицкевича, посвященные им Мицкевичу поэтические строки и стихотворения. Польский поэт, в свою очередь, тоже очень высоко ставил Пушкина. «Он вообще хорошо понял талант Пушкина и верно оценил его,— сказал впоследствии П. А. Вяземский.— В этой (т. е. данной Мицкевичем Пушкину.— Л. К.) характеристике есть мысль, чувство и суд; в ней слышится голос просвещенного критика и великого художника»<sup>10</sup>.

«Пуля, сразившая Пушкина,— писал в 1837 году Мицкевич,— нанесла ужасный удар умственной России. Она имеет ныне отличных писателей... но никто не заменит Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-

видимому, друг друга исключают качества. Пушкин, коего талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным»<sup>11</sup>.

Статья Мицкевича о Пушкине процитирована нами в переводе П. А. Вяземского, который исключительно точно заметил, что главная ее привлекательность заключается «в суждении великого поэта о великом поэте»<sup>12</sup>. В известном смысле по той же причине мы предпочли современному переводу Вяземского, также несущий в себе печать суждения (пусть и опосредованно в данном случае выраженного) поэта о поэте, хорошо передающий колорит времени и стиля.

1828 год был годом не только самых тесных дружеских общений между Пушкиным и Мицкевичем, но и годом их общения литературного, когда оба они отдали, так сказать, чисто профессиональную дань уважения друг другу: Пушкин — переведя на русский язык начало поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» («Сто лет минуло, как тевтон...»), Мицкевич — переведя на польский стихотворение Пушкина «Воспоминание». То самое «Воспоминание», на одном из черновиков которого мы обнаруживаем профиль Мицкевича.

to ~~the~~ ~~the~~

the





*Петр Александрович*  
**ПЛЕТНЕВ**



*[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is written in cursive and spans most of the page.]*

Не мысля гордый свет забавить,  
Вниманье дружбы возлюбя,  
Хотел бы я тебе представить  
Залог достойнее тебя,  
Достойнее души прекрасной,  
Святой исполненной мечты,  
Поэзии живой и ясной,  
Высоких дум и простоты;  
Но так и быть — рукой пристрастной  
Прими собранье пестрых глав,  
Полусмешных, полупечальных,  
Простонародных, идеальных,  
Небрежный плод моих забав,  
Бессонниц, легких вдохновений,  
Незрелых и увядших лет,  
Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет.

Эти строки посвящения «Евгения Онегина» обращены к одному из самых близких друзей поэта — Петру Александровичу Плетневу, чья безраздельная преданность Пушкину оставалась постоянной и неизменной на протяжении всей его жизни. Петр Александрович был не только другом и литературным единомышленником поэта, не только горячим его приверженцем, почитателем и критиком — он был и издателем многих его произведений, в том числе и «Евгения Онегина» (кроме главы II), находившемся в курсе всех почти творческих его замыслов и устремлений. Письма Пушкина к Плетневу — не просто письма к близкому человеку, другу, понимающему все с полуслова. Это вместе с тем и письма, так сказать, к коллеге — поэту, издателю, критику, мнение которого ставят весьма высоко и советы которого ценят; они наполнены деловыми

поручениями, критическими замечаниями о появляющихся в печати сочинениях, порою — творческими сомнениями, часто — новыми замыслами, размышлениями о самом сокровенном для них обоих — о поэтическом творчестве. И все это всегда с уважением самым глубоким, с доверительностью интимною и профессиональною вместе.

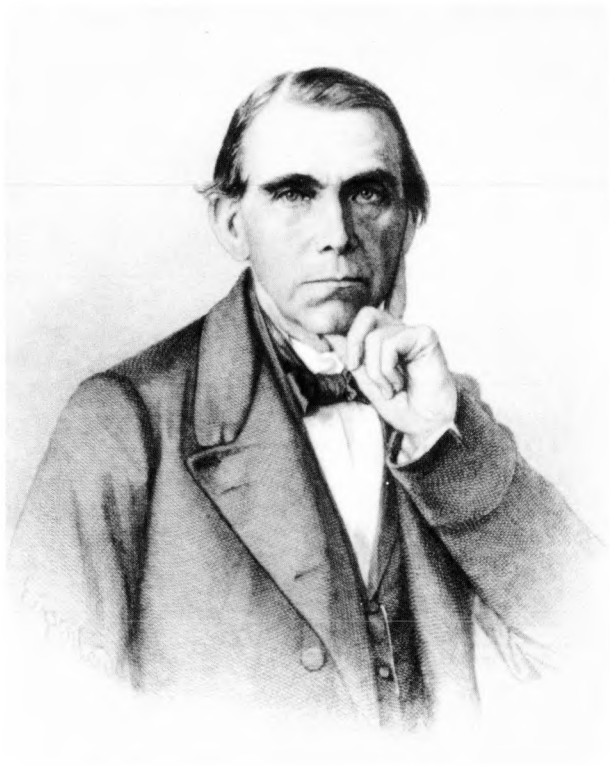
«Думаю написать предисловие,— пишет Пушкин в письме Плетневу в мае 1830 года.— Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с «Борисом Годуновым», заговорить об Фаддее Булгарине? кажется, неприлично. Как ты думаешь? реши».

«Жду Годунова с поправками...— отвечает ему Плетнев.— ...Важность предисловия должна гармонировать с самою трагедиею, что можно сделать только ясным и верным взглядом на истинную поэзию драмы вообще, а не предикою из темы о блудном сыне Булгарине; следственно (по моему разумению), не стоит тебе якшаться с ним в этом месте: в другом бы для чего не поучить...»<sup>1</sup>

«Осень подходит,— пишет Пушкин в августе того же 1830 года Петру Александровичу с некой особой открытостью, свойственной поэту в отношениях только к самым близким людям.— Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает...»

«Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска,— пишет поэт Плетневу об утрате их общего друга Дельвига.— Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели...» (январь 1831 года).

Пушкин всегда питал глубочайшее доверие к другу.



**П. А. Плетнев.**  
Гравюра на стали Эйзенхардта. 1866 г.

«Что делается у вас в Петербурге? — с тревогой пишет он П. А. Плетневу из Михайловского в январе 1826 года.— Я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит».

Надо ли объяснять, что не всякому стал бы писать ссыльный Пушкин о своей «короткой связи» с находившимися под следствием декабристами?

Почти вся переписка поэта с Плетневым преисполнена теплым участием и трогательными заботами о друге. «Что с тобою, душа моя?.. Отвечай же мне, а не то буду беспокоиться». «Мой милый, я очень беспокоюсь о тебе. Говорят, в Петербурге грипп...» «Что это значит, душа моя? ты совершенно замолк. Вот уже месяц, как от тебя ни строчки не вижу... Не болен ли ты? Все ли у тебя благополучно? Или просто ленишься да понапрасну друзей своих пугаешь...» (март 1831 года).

«Письмо твое от 19-го (от 19 июля 1831 года.— Л. К.) крепко меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельви́г умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь всё еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята...

Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы» (июль 1831 года).

Не многие из корреспондентов Пушкина получали от него такие поистине родственные письма и не каждого дарил он такой дружбою и сочувствием! Но и Плетнев также всецело предан был своему другу.



Торжественный обед у А. Ф. Смирдина...  
Сепия. Художник А. Брюллов. 1832 г.

«Когда будет тебе нужда в деньгах, напиши ко мне только: *пришли (имярек рублей)*! Я всегда могу для тебя достать»<sup>2</sup>, — пишет Пушкину в июле 1825 года в Михайловское Плетнев, вовсе, в сущности, не располагавший значительными личными средствами.

Простота и сердечность его отношений с поэтом особенно явственно проступают в его простодушных и по-детски открытых признаниях.

«Мне так более всего обидно, — пеняет он в январе 1827 года Пушкину, — что ты не намекнул даже мне, какие у тебя литературные планы. Правду сказать, что я в любви самый несчастный человек. Кого ни выберу для страсти, всякий меня бросит...»<sup>3</sup>

«Жду зимы, чтобы согреть близь тебя душу»<sup>4</sup>, — читаем мы в другом его письме Пушкину.

В регулярной, в общем-то, переписке Пушкина с Плетневым отсутствует 1828 год — один из самых смятенных и вместе с тем творчески плодотворных в его жизни. Писать письма было не нужно — Пушкин живет в Петербурге. Весна — лето этого года — время постоянных, почти ежедневных общений Пушкина и Плетнева. 3 июля 1828 года поэт пишет из Петербурга своему приятелю С. А. Соболевскому: «Мой адрес: на имя Плетнева Петра Александровича — в Екатерининский институт».

Петр Александрович был человеком не слишком-то светским. Не блистал остроумием в модных гостиных и не всюду бывал, где бывал часто Пушкин. Однако в душевной, как говорил Лев Толстой, жизни поэта места Плетнева не занимал никто. И не случайно поэтому в рабочей пушкинской тетради (ПД 838), среди черновых строк «Воспоминания» и окончания посвященного Анне Олениной стихотворения «Ты и вы» (май 1828 года), рядом с профилем Адама Мицкевича мы находим прекрасный портрет Плетнева.

Не случайно также и столь тесное соседство этих двух портретов — Мицкевича и Плетнева. Петр Андреевич Вяземский писал 2 мая 1828 года жене из Петербурга: «Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым... Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас... силою, богатством и поэзией своих мыслей...»<sup>5</sup>

Вспоминал впоследствии об этой импровизации Мицкевича и П. А. Плетнев. В письме Я. К. Гроту от 8 сентября 1845 года он писал: «Мицкевич импровизировал... у Пушкина, еще холостого и жившего тогда у Демута. Там были: Вяземский, Дельвиг, я и еще кто-то»<sup>6</sup>.

Пушкин и Жуковский, по словам П. А. Вяземского, «глубоко потрясенные этим огнедышащим изверже-



В лавке А. Ф. Смирдина на Невском проспекте. Гравюра С. Галактионова по рисунку А. Сапожникова. 1834 г.

нием поэзии (импровизацией Мицкевича.—Л. К.), были в восторге»<sup>7</sup>.

Представляется очень возможным, что именно как воспоминание об этом вечере появились портреты Мицкевича и Плетнева на заполнявшемся в мае листе (л. 14 об.) черновой рукописи Пушкина.

Портрет Плетнева, не имевший до сих пор иконографического отождествления, а потому в общем мало известный, по характеру исполнения (в этом случае весьма тщательного) занимает особое место среди прочих рисунков поэта, обычно небрежных и легких, часто незавершенных. Портрет старательно проработан, моделирован на уровне почти что профессиональном. При всем том это рисунок типично пушкинский,





**П. А. Плетнев.**  
Гравюра Ф. Иордана с фотографии. 1870-е гг.

отличающийся необыкновенно точной передачей существеннейших черт лица портретируемого. Атрибуция портрета подтверждается сравнением и с документальными изображениями П. А. Плетнева, и с определенным А. М. Эфросом пушкинским ри-

сунком — портретом Плетнева в рукописи 1835 года с черновиками «Юдифи»<sup>8</sup>. Вспомним, кстати, как Эфрос отмечает, что лишь в случаях особо важных, «рисую очень близкого человека или очень занимательную личность», Пушкин «трудился над деталями»<sup>9</sup>.

Как всегда у Пушкина, в этом новооткрытом портрете Плетнева поражает нас чрезвычайно искусно воспроизведенный им взгляд того, кого он рисует. Именно глаза — глубоко посаженные, небольшие, необыкновенно живые и доброжелательные — раскрывают нам в первую очередь тайну рисунка. Нет ничего более неповторимого в человеке, чем глаза, чем его взгляд, и вот глаза-то Пушкин и передает в своих рисунках как великий мастер постижения человеческого характера. Почти каждый новый портрет его — это образ, это характеристика в самом полном и собственном смысле слова. Характеристика точная и исчерпывающая, потому что она всегда почти что слагалась из черт наиболее типических.

«Чистое сердце, светлый и спокойный ум, бескорыстная, беспредельная, теплая преданность друзьям, нрав кроткий, мягкий и уживчивый, добросовестное, не по расчетам, не в виду житейских выгод и в чаянии блестящих успехов, но по призванию, но по святой любви, служение литературе, изящный и верный вкус, с которым любили справляться и советоваться Баратынский и сам Пушкин,— ...все это давало Плетневу особенное значение и почетное место в обществе нашем»<sup>10</sup>, — вспоминал П. А. Вяземский. И замечательные эти качества — добросердечие и пронизательность, душевная чуткость и деликатность, отличавшие Петра Александровича Плетнева и высоко ценимые всеми друзьями его, хорошо угадываются в пушкинском рисунке, как нам думается, одним из выразительнейших во всей его портретной графике.



Aluna orakir <sup>5.000</sup> / ~~1000~~  
Buketamula ~~1000~~ or  
~~Compassion~~



*Алексей Петрович*  
**ЕРМОЛОВ**



«...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова». Так начинается знаменитое «Путешествие в Арзрум» о поездке поэта весной 1829 года на Кавказ, на театр военных действий русской армии.

«Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью,— продолжает Пушкин.— С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом».

До последнего времени эти широко известные строки были единственным пушкинским портретом Ермолова. Пушкин-литератор, Пушкин-историк и общественный деятель оставил нам следы своего серьезного интереса к исключительно яркой и сложной фигуре Ермолова — прославленного участника войн с Наполеоном, героя Бородина, крупнейшего военного деятеля и одного из самых популярных в русской армии военачальников, весьма близкого к декабристам, которого они в случае успеха восстания прочили в члены временного правительства.

Пушкин-художник, познакомивший нас своими рисунками со многими выдающимися современниками, обошел, как

считалось, вниманием Ермолова. Среди множества узанных, определенных портретов-рисунков, оставленных Пушкиным, Ермолова не было. И это казалось особенно странным потому, что интерес поэта к необыкновенному ермоловскому таланту полководца и государственного деятеля, к исключительной и разносторонней его одаренности, громкой славе, его яркой индивидуальности человека незаурядного личного мужества и внутренней противоречивости, редкой честности, бескорыстия, разительного остроумия и широкой образованности — был устойчивым на протяжении всей почти жизни поэта.

Образ Ермолова запечатлен в эпилоге к «Кавказскому пленнику». Пушкин писал о нем в письме к брату из Кишинева в сентябре 1820 года: «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением». Блистательный литературный портрет Ермолова создан поэтом в «Путешествии в Арзрум». Имя прославленного генерала встречается и в дневниковых записях поэта.

Пушкин желал быть издателем «Записок» (или «Воспоминаний») Ермолова. Сохранился черновик его письма к А. П. Ермолову, датированный апрелем 1833 года.

«Обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном,— пишет Пушкин опальному полководцу, отстраненному от армии не доверявшим ему после восстания декабристов Николаем I.— Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то я прошу Вас

дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения и etc».

Пушкин не был в то время в России единственным, кто с нетерпением ожидал появления мемуаров Ермолова. Многие соотечественники, зная о связях Ермолова с рядом видных участников декабристского движения и оппозиционно настроенными кругами, ожидали, что он расскажет в своих воспоминаниях о чем-то существенно важном, проливающим свет и на горячо волновавшие всех события недавнего прошлого, хотя, конечно, и не могли рассчитывать на серьезную откровенность по причинам, хорошо всем понятным. Но слишком неординарной и независимой была фигура Ермолова, чтобы не питать хотя бы малой толики надежды на нечто необыкновенное.

Пушкин не стал издателем «Записок» Ермолова, как не стал он и его историографом. «Записки Алексея Петровича Ермолова» вышли в свет только в 1865 году. Издал их племянник Ермолова, Н. П. Ермолов, уже после смерти Алексея Петровича, предупредив читателей о том, что «Алексей Петрович составлял свои воспоминания не для печати, и только в последний год своей жизни, уступая просьбе некоторых своих знакомых, приступил к пересмотру Записок о 1812 годе, с тем, чтобы одни они были изданы после его смерти».

«В настоящем издании,— продолжает далее Н. П. Ермолов,— напечатаны не только эти Записки, но и все, которые были написаны Алексеем Петровичем, так как большая часть их уже сделалась известною публике по текстам неверным и в отрывках...»<sup>1</sup>

Впрочем, «Записки о 1812 годе» изданы были отдельною книгою еще до этого издания, в 1863 году, с характернейшим для Ермолова предисловием, в котором сказано:



«Нет сомнения, что многие предпримут описание достопамятной войны отечественной; но выгода иногда сказать лесть, боязнь сказать истину, уважение к лицам, обстоятельствам и времени не сделают такового описания справедливым. Я, конечно, не предприму подобного... Замечания о войне 1812 года, написанные мною в минуты от должности свободные, известны будут одним лучшим моим приятелям. Им без стыда вверяю я мои мысли: они без укоризн поправят мои погрешности. Но зато не страшусь говорить правду»<sup>2</sup>.

«Записки» эти, изданные как «материалы для истории войны 1812 года», в этом качестве в полной мере отвечали любым ожиданиям. Талантливо, страстно и искренне рассказал Алексей Петрович своим «соотечичам» о событиях достопамятных и великих для русского сердца. Страницы «Записок» можно считать не только историческим источником, не только выдающимся памятником военно-мемуарной литературы, но и замечательным собственно литературным памятником высокого патриотического подвига героев 1812 года.

Удивительные слова смог найти боевой генерал тем великим поступкам, о которых со щемящим восторгом и гордостью будут читать потом в учебниках истории поколения школьников.

«...Бог в отмщение за злодеяства Наполеона назначил Москву быть гробом величия его и славы. Наполеон, худо предваренный о свойствах российского народа, не разумея его довольно твердым в опасностях, в несчастии терпеливым, думал покорить нас ужасом, как и прочих побежденных им; думал в Москве овладеть Россиею...

...Россиянин, каждый частью, народ весь вообще великодушно жертвует всем для пользы общей. Неприятель покорением столицы мнит поколебать твер-



**А. П. Ермолов.**  
Гравюра Т. Райта с оригинала Дж. Доу. 1824 г.

дость россиян, мнит достигнуть славного для себя мира — и не находит столицы, а вместо мира видит народную войну, под ужасающими признаками возгорающуюся... Исчезает мечта, обольщавшая их; предстоят бедствия неизбежные: в добровольном разрушении Москвы усматривают враги предстоящую им гибель... Ни один народ из всех, в продолжение двадцати лет пред счастьем Наполеона смирявшихся, не явил подобного примера: судьба сберегла его для славы россиян. Двадцать лет побеждая все сопротивлявшиеся народы, в торжестве неоднократно проходил Наполеон столицы их: через Москву единую лежал ему путь к вечному стыду и сраму; в первый раз уstraшенная Европа осмелилась узреть в нем человека!»<sup>3</sup>

Любопытные свидетельства напряженнейшего внимания русского общества к Алексею Петровичу Ермолову, пятидесятилетнему, полному сил и энергии, овеянному легендарной славой полководцу, изгнанному из армии «по домашним обстоятельствам» и едва ли не сосланному в глушь Орловской губернии, где он мучительно переживал свою вынужденную бездеятельность, сохранились в воспоминаниях множества современников, даже весьма далеких от интереса к общественной жизни. Показателен, например, рассказ приятельницы Пушкина Елизаветы Николаевны Ушаковой, переданный ее сыном Н. С. Киселевым. «По словам моей матери,— сообщал Киселев,— впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в московском театре после возвращения из ссылки, может сравниться только с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Алексей Петрович Ермолов, только что оставивший кавказскую армию»<sup>4</sup>.

Вряд ли приходится удивляться тому нетерпению, с которым ожидалась мемуары Ермолова в России,

и не случайно, конечно, большая часть его «Записок» «сделалась известною публике» еще до их напечатания.

Человек выдающихся качеств ума и характера, волевой, энергичный, талантливый, честный, бесстрашный перед лицом опасности, Алексей Петрович Ермолов вселял в своих соотечественников желание найти в нем героя не только военных кампаний, но и героя национальной истории в ее общественно-политическом и государственном аспектах. Однако этих надежд Алексей Петрович не оправдал, разочаровав тех, кто хотел видеть его на арене решительных действий. Он не примкнул к декабристам, не возглавил их военные силы, хотя был близок со многими активными деятелями движения, сочувствовал их убеждениям и некоторые из них разделял. Ермолов был в то время, по существу, единственной в русской армии фигурой, обладавшей и всей полнотой власти над огромными военными силами и легендарной почти что личной популярностью, яркие свидетельства которой сохранились во многих воспоминаниях современников.

«Дорогой... я остановился в Кракове,— пишет в своих «Записках» декабрист С. Г. Волконский,— где была корпусная квартира Алексея Петровича Ермолова, который до конца своей жизни оказывал мне милостивое расположение и который и тут принял меня, как он умел это делать, как он выражался, потоварищески, не роняя вместе с тем своего достоинства, как начальника; скажу даже, этим самым он еще более возвышал свое достоинство полным чувством заслуженного уважения и неограниченной преданности всех к нему»<sup>5</sup>.

«...Дядя (Константин Маркович Полторацкий, боевой генерал, герой Отечественной войны 1812 года.— Л. К.) от души целовал, крестил, благословлял,— вспоминал племянник генерала В. А. Полторацкий,— выражая сожаление, что не может проводить меня

до Москвы, где бы он непременно свозил меня к старому, высоко им чтимому начальнику и другу своему Алексею Петровичу Ермолову, так как, по его убеждению, всем проезжающим на Кавказ через Москву безусловно подобает поклониться Иверской Божией матери в Кремле и Ермолову на Пречистенке...»<sup>6</sup>

Командир Отдельного Кавказского корпуса, главноуправляющий в Грузии, А. П. Ермолов возглавлял дееспособную, беззаветно преданную ему армию, насквозь проникнутую декабристским духом, носителями которого были боевые офицеры, близкие к его окружению. Причастными к декабристскому движению оказались и адъютанты Ермолова, состоявшие при нем в 1812-м, в 1813—1814 годах и позднее. Один из них, Михаил Александрович Фонвизин, бывший не только адъютантом, но и товарищем, другом Ермолова, известен как активнейший член Северного общества, осужденный на двенадцать лет каторжных работ в Сибири. «...Не случайно в доносе в Следственную комиссию от 26 февраля 1826 года «Об участии некоторых государственных людей в злобных замыслах преступников» в отношении Ермолова,— пишет А. Г. Кавтарадзе, автор изданной в 1977 году книги о нем,— было сказано: «По некороткому о нем сведению я ничего сказать не могу, и оканчиваю замечанием, что адъютанты генерала издревле представляют собою разительную вывеску подлинных чувств ближайшего своего начальника»<sup>7</sup>.

Николай I откровенно не доверял Ермолову. «Вы... не оставьте меня уведомить обо всем, что... вокруг вас происходит будет, особливо у Ермолова... Я, виноват, ему менее всех верю»<sup>8</sup>,— писал он И. И. Дибичу еще до вступления своего на престол 12 декабря 1825 года. В феврале 1826 года царь отправляет на Кавказ полковника Ф. Ф. Бартоломея с секретной инструкцией «наблюдать о духе войск и их начальни-

ков», а Следственный комитет в Петербурге занимается специальным расследованием по делу «О существовании тайного общества в Отдельном Кавказском корпусе».

Чрезвычайно интересно свидетельство декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского, который вспоминает о поездке своей на Кавказ в 1824 году.

«Я выбрал для своей поездки именно Кавказские воды,— пишет Волконский,— потому что принял поручение от верховной думы Южного общества стараться узнать положительнее о дошедшем до нас слухе, что на Кавказе и в самой главной квартире в Тифлисе существует общество, имеющее целью произвести политический переворот в России.

Там я встретился с Александром Ивановичем Якубовичем... и... решился узнать от него, точно ли есть тайное общество на Кавказе и какая его цель?

Постепенно ведя с ним разговоры интимные, судя по его словам, я получил, если не убеждение, то довольно ясное предположение, что существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести переворот политический в России, и даже некоторые предположительные данные, что во главе оного сам Алексей Петрович Ермолов, и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу».

«Это меня ободрило к большей откровенности,— продолжает рассказ С. Г. Волконский,— и я уже без околичностей открыл Якубовичу о существовании нашего тайного общества и предложил ему, чтоб кавказское общество соединилось с Южным всем его составом. На это Якубович мне отвечал: «Действуйте, и мы тоже будем действовать, но каждое общество порознь, а когда придет пора приступить к явному взрыву, мы тогда соединимся. В случае неудачи вашей, мы будем в стороне, и тем будет еще зерно, могущее возродить новую попытку. У нас на Кавказе и более

сил, и во главе человек даровитый, известный всей России... здесь край и по местности отдельный, способный к самостоятельности. Около вас сила, вам, вероятно, не сручная, а здесь все наше по преданности общей к Ермолову».

«...Теперь...— заключает воспоминание об этом эпизоде Волконский,— я полагаю, что его рассказ был не основан на фактах...»<sup>9</sup>

Рассказ, конечно, не был основан на фактах, но характерно, что тогда, в 1824 году, эта «эпопея», как выразился Волконский, не только была «сродни его (Якубовича.— Л. К.) умственному направлению», но и была воспринята им, князем Волконским, как «оттиск действительности». Он тогда поверил в рассказанное настолько, что счел возможным изложить все подробно в своем отчете в верховную думу. Слишком уж все это носилось в воздухе. Недаром ведь и царь не на шутку перепугался, когда Кавказский корпус Ермолова в течение нескольких суток медлил, не приносил ему присягу. И отнюдь не случайны вопросы, задававшиеся при расследовании тому же Якубовичу: «Комитет имеет прямое показание... о существовании в корпусе генерала Ермолова тайного общества, к числу членов коего принадлежали и вы...— с какого времени существовало сие общество? Кем основано? В чем именно состоит цель оно́го? Когда и какими средствами положено было намере⟨ние⟩ начать открытые действия? Кто составляет думу и кто член. Через кого и какие сношения были сего общества с другими таковыми же и известен ли об этом генерал Ермолов»<sup>10</sup>. Такие же вопросы были заданы Рылееву, Пущину, Оболенскому, Н. М. Муравьеву.

Итак, Ермолов мог бы выступить, но не выступил в поддержку декабристов, несмотря на широко бытовавшее в стране мнение, что он будет вместе с ними. Так в первый раз Алексей Петрович Ермолов не

оправдал возлагавшиеся на него надежды наиболее демократично настроенных кругов русского общества. Во второй раз он не оправдал их, когда многие — и в их числе Пушкин — с нетерпением, но тщетно ожидали от него, любимца и кумира армии, насильственно в зените славы и расцвете сил от нее отторгнутого, мемуаров, достойных масштаба его прежней деятельности, его государственного ума, высокой репутации и громкого имени. По-видимому, именно в связи с этими разочарованиями Пушкин назвал Ермолова как-то в своем дневнике «великим шарлатаном» (1834 год). Запись эта, впрочем, нуждается в отношении весьма осторожном. Слово «шарлатан» в данном случае, думается нам, следует понимать лишь в значении «обманщик», «человек, вводящий других в заблуждение» — и ни в каком более, потому что ни плутом, ни хвастуном, ни мистификатором А. П. Ермолов никогда не был. И «Записки Алексея Петровича Ермолова» он все-таки написал, и написал замечательно. Как истинный патриот. И как прекрасный писатель. Читая немногословную его, хотя и восходящую порой до высокой патетики, внутренне сдержанную, преисполненную достоинства, скромности и великой любви к своему отечеству летопись войны 1812 года, начинаешь вполне понимать, чем еще, кроме храбрости, воли, ума, мог так сильно влиять на людские сердца этот воин, сочетавший в делах своих вместе с мудростью, бескорыстием и отвагой — жесткость, даже порою жестокость.

«Итак, оставили мы тебя, Смоленск! Судьба препятствовала нам защищать тебя долее. Привлекли мы на тебя все роды бедствий, наполнили отчаянием и страхом, превратили в жилище ужаса и смерти. Собственными руками ускоряли мы твое разрушение, разносили пожиривший тебя пламень, и ты, озаря нас сиянием снедавших тебя пожаров, казалось, упрекал нас



твоим бедствием и в стыде нам расточал мрак, скрывавший наше отступление!

Разрушение Смоленска познакомило меня с совсем новым для меня чувством, которого войны, вне пределов отечества выносимые, не сообщают. Не видал я опустошения земли собственной, не видал пылающих городов своего отечества. В первый раз в жизни коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раскрылись глаза мои на ужас бедственного их состояния и, конечно, на всю жизнь останутся в сердце воспоминания. Незнакомо было мне сие чувство: судьба и оному научила»<sup>11</sup>.

Это — кусочек рассказа об оставлении Смоленска русской армией летом 1812 года. Но какого рассказа! Сколько чувства, достоинства, мысли и боли... И какое умение их передать! Невозможно не поверить в искренность человека, написавшего это. Невозможно ему не довериться, на него не положиться...

Обаяние личности Ермолова, его острого, саркастического ума, его способности тонкого понимания человеческих характеров и поступков, искусства яркого выражения своих чувств и мыслей испытали на себе не только люди, непосредственно с ним общавшиеся или под его началом служившие, но и те, кто когда-либо обращался к его «Запискам». Даже сам Лев Николаевич Толстой, довольно скептически, как известно, относившийся к Ермолову, похоже, не миновал некоторого ермоловского влияния при описании эпопеи 1812 года в «Войне и мире». Вспомним, например, остроироничный рассказ в «Записках» Ермолова о печально знаменитом в русской истории Дрисском лагере и его бездарном создателе прусском генерале К. А. Фуле.

«Некто Фуль,— пишет А. П. Ермолов со свойственной ему лаконической и наповал убивающею иронией,— бывший прусской службы генерал, потом в

службе нашей генерал-лейтенант, снискавший доверенность, которой весьма легко достигают иноземцы, по предубеждению к их способностям, составляя разные проекты, планы и всегда оканчивая их одною и тою же мерою отступления, еще за год до начала войны склонил к приготовлению укрепленного при Дриссе, на реке Двине, лагеря. Довольно взглянуть, на каком лагерь сей устроен направлении, чтобы иметь понятие о воинских г. Фуля соображениях»<sup>12</sup>.

И далее:

«Знаменитый лагерь, так заблаговременно предначертанный, толикого напряжения ума г. Фуля стоивший... французами назван был памятником невежества, и против истины сей возразить никто не дерзает...»<sup>13</sup>

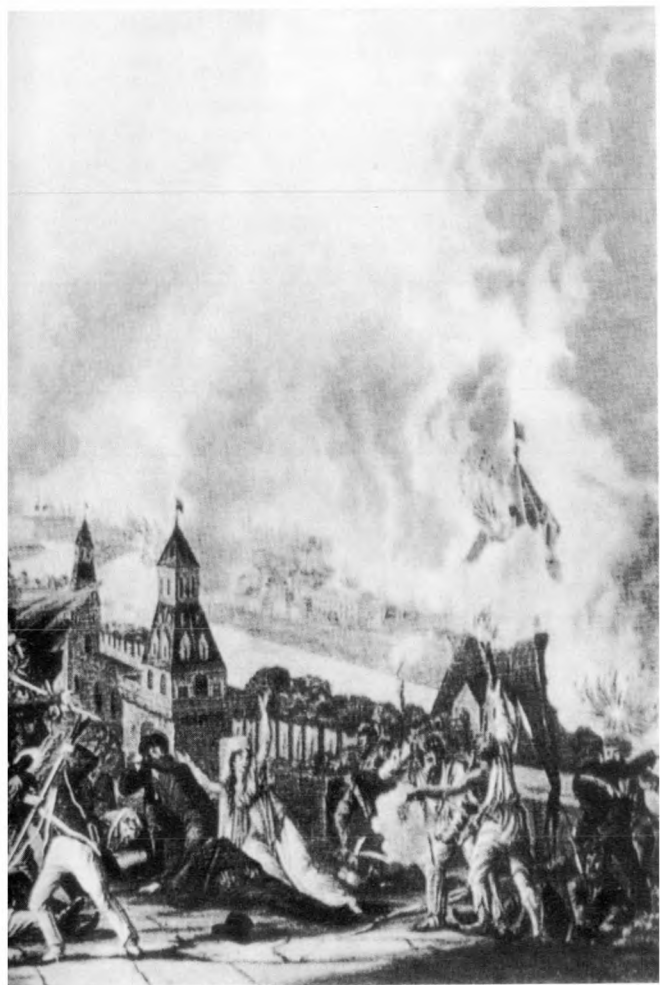
И еще ниже:

«...Остался и г. Фуль, с горьким в сердце чувством, что он уже не столько необходим государю, с отчаянием в душе, что лагерь при Дриссе остался бесполезным и что нашлись дерзнувшие усмотреть его недостатки. Ни раб-почитатель его, флигель-адъютант полковник Вольцоген, ни генерал-адъютант граф Ожаровский, им в ремесле военном просвещаемый, не проповедовали уже его славы. Давно ли удивлялись мудрым предложениям его продолжать отступление за Волгу и даже до степей Сибири: и ныне не внемлют более благодетельным его о России попечениям\*. Судьба казнит неблагодарность вашу, россияне! Не увидите вы берегов Волги, и едва пройдет полгода, как позади ополчений ваших восшумят струи Вислы! Таков жребий невнемлющих спасительным советам г. Фуля»<sup>14</sup>.

\* Средство отступления, единственное в положении нашем, и без мудрых рассуждений г. Фуля слишком хорошо истолковано было превосходством сил неприятельских. (Прим. А. П. Ермолова.)



Пожар Москвы в 1812 г.  
Гравюра на меди, раскрашенная акварелью,  
И. Ругендаса. 1813 г.



А теперь о том же рассказ из «Войны и мира»:

«Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков-генералов... но он был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще не видал никогда князь Андрей»<sup>15</sup>.

И дальше:

«Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и потому именно, что только немцы бывают самоуверенными на основании... многого знания совершенной истины... Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука — теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.

В 1806 году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории были, по его понятиям, единственную причиной всей неудачи... Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике...»<sup>16</sup>.

И в другом месте:

«...Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец,— главное —

Пфуль был тут потому, что он составил план войны против Наполеона и, заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всем, кабинетный теоретик»<sup>17</sup>.

«...Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, ...видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко... Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, был в отчаянии от того, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него»<sup>18</sup>.

Или вот, например, ермоловское описание только что оставленной русской армией столицы.

«В Москве жителей было уже весьма мало: оставались самые бедные, которым негде было искать пристанища; дома были пусты и заперты; обширные площади уподоблялись степям, и на некоторых улицах не встречалось ни одного человека...»<sup>19</sup>.

А это о том же пишет Толстой (в начале XXII главы третьей части третьего тома «Войны и мира»):

«В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое-где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов...»<sup>20</sup>

Параллели эти, разумеется, приведены лишь с единственной целью обратить внимание на то, что талантливо написанный источник невольно оказывает влияние — в том числе и литературное — даже на таких великих художников, как Лев Толстой.

А незаурядность литературного таланта Ермолова вряд ли может вызвать чье-либо сомнение. Эта сторона его одаренности — одна из граней его одаренности общей; если уж человек по-настоящему талантлив, он, как правило, талантлив во всем, за что ни берется. И неудивителен поэтому тот особый, незатухающий с годами интерес к личности Ермолова, который Пушкин испытывал и проявлял на протяжении всей своей жизни и даже тогда, когда назвал его а прогос в своих дневниковых заметках «великим шарлатаном». Удивительным было другое — то, что до самого последнего времени в черновиках пушкинских рукописей среди многочисленных рисунков поэта — портретов его современников — изображения Ермолова не обнаруживалось. Как-то не верилось, что карандаш поэта, специально, знакомства лишь ради предпринявшего в 1829 году весьма предосудительную в глазах правительства поездку в Орел к опальному генералу <sup>21</sup>, миновал его выразительную внешность, так ярко и так пластично описанную в «Путешествии в Арзрум». И портрет действительно нашелся. Нашелся в рабочей тетради Пушкина, которой он пользовался совсем незадолго до поездки к Ермолову и к которой впоследствии возвращался в 1829, возможно 1830, и 1833 годах.

Портрет находится на листе с черновым наброском письма к Бенкендорфу (видимо, так и не отправленного), написанного по поводу объявленного Пушкину запрещения печататься помимо обычной цензуры и взятия с него соответствующей полицейской подписки. Расположен рисунок вверху 23-го листа тетради с черновиками «Полтавы», над двумя стихотворными строками о дочери Кочубея (*Мила очам как вешний цвет — / Взлелеянный в тени дубравной — / [Странна]*). Ниже этих строк — текст письма к Бенкендорфу.



А. П. Ермолов.  
Литография неизвестного художника. 1820-е гг.



И строки о дочери Кочубея, и письмо к шефу жандармов написаны чернилами; рисунок же сделан карандашом, что может свидетельствовать о разном времени появления их на бумаге. По-видимому, портрет появился позднее текста — на оставшемся незаполненным чистом поле тетрадного листа.

Рисунок представляет собою профильный портрет Ермолова, который так же, как, по свидетельству Пушкина, и оригинал, «разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом». Только «писанный Довом» (английским художником Джорджем Доу, приглашенным в Петербург писать портреты русских генералов — участников героических сражений 1812—1814 годов — для Военной галереи Зимнего дворца) портрет Ермолова изображает знаменитого военачальника, командира Отдельного Кавказского корпуса, «главноуправляющего Грузией» в романтической позе героя-полководца на фоне снеговых гор, с грозно нахмуренными бровями, а карандашный рисунок Пушкина передает те же волевые, энергические, характерные черты воина с напряженным, сосредоточенным выражением умных «огненных» глаз в состоянии более покойном и непарадном.

Замечательный этот пушкинский рисунок в самом деле разительно схож с широко известным портретом Доу. Мы видим ту же крупную, с беспорядочно вихрящейся обильной шевелюрой голову, ту же мощную шею, скрытую высоким воротником мундира, те же скульптурно четкие черты очень значительного, сразу запоминающегося лица: высокий лоб, заметно сгущающиеся к переносице брови, нос с крупно вырезанными ноздрями, твердый, волевой подбородок, характерная складка у плотно сомкнутого, не привыкшего к улыбке рта, придающая суровую мужественность всему облику немолодого уже генерала.

Небезынтересно вспомнить здесь описание внеш-

ности Ермолова, оставленное его двоюродным братом знаменитым поэтом партизаном Денисом Васильевичем Давыдовым. «Будучи одарен необыкновенною физической силой и крепким здоровьем, при замечательном росте,— пишет Давыдов,— Ермолов имеет голову, которая, будучи украшена седыми, в беспорядке лежащими волосами и вооружена небольшими, но пронизательными и быстрыми глазами, невольно напоминает голову льва»<sup>22</sup>.

Теперь, когда мы имеем возможность сравнить рисунок Пушкина с профессиональными портретами Ермолова (прежде всего с портретами, восходящими к работе Джорджа Доу), кажется невозможным не узнать сразу же в этом рисунке знаменитого полководца по одному только всепроницающему, неповторимому взгляду его, очень точно и просто переданному Пушкиным, как всегда и во всем уловившим и тут нечто самое главное, самое сущностное и особенное, что присуще только данному человеку, личности, характеру.





*Алексей Николаевич*  
**ОЛЕНИН**

~~Handwritten notes at the top of the page, including the word "Handwritten" and other illegible scribbles.~~



~~Handwritten notes at the bottom of the page, including the word "Handwritten" and other illegible scribbles.~~

До недавнего времени были известны два пушкинских портрета Алексея Николаевича Оленина — президента Академии художеств, директора императорской Публичной библиотеки, выдающегося знатока древностей, литератора и сановника, к дочери которого, Анне Алексеевне, обращен целый цикл лирических стихотворений поэта 1828 года. Пушкин питал к Анне Олениной, как мы уже знаем, сильное чувство, без конца рисовал ее профиль, во множестве вариантов — анаграммы, инициалы и проч. — выводил ее имя, соединяя его со своим, в черновиках своих рукописей. Он сватался к ней, получил отказ и тяжело и мучительно переживал его.

Оба известных нам портрета А. Н. Оленина относятся к весне 1829 года, периоду пребывания Пушкина на Кавказе, во время поездки в Арзрум. На первом рисунке Пушкин запечатлел Оленина в профиль, подле хорошо всем знакомого автопортрета в папаче; на втором, сделанном, видимо, несколько дней спустя, Алексей Николаевич изображен вместе с супругою, Елизаветою Марковной, рожденною Полторацкой.

Ныне мы имеем возможность пополнить иконографию А. Н. Оленина двумя новыми его портретами руки Пушкина, определенными несколько лет назад художником Юрием Леонидовичем Керцелли<sup>1</sup>. Портреты находятся соответственно в рабочей пушкинской тетради 842 среди черновиков неоконченной поэмы «Тазит» и в Ушаковском альбоме — знаменитом альбоме млад-

шей из сестер Ушаковых, московских приятельниц Пушкина,— Елизаветы Николаевны.

Поскольку оба новых портрета Оленина относятся все к тому же 1829 году (портрет в черновиках «Тазита», возможно, к январю 1830-го) и теперь уже следует говорить о целой серии пушкинских рисунков этого времени, изображающих президента Академии художеств, возникает некоторое сомнение в правомерности утвердившегося в литературе о Пушкине мнения о разрыве поэта с Олениным осенью 1828 года как разрыве, вызванном главным образом причинами политическими (участие А. Н. Оленина как члена Государственного совета в разбирательстве дела о распространении запрещенного цензурой отрывка из элегии «Андрей Шенье» и дела о «Гавриилиаде»).

Остановимся на этом подробнее.

Конец второго десятилетия XIX века. Петербургский дом А. Н. Оленина, служивший в это время своего рода штаб-квартирой членам так называемого оленинского кружка, охотно посещают молодые литераторы, привлеченные просветительскими и патриотическими идеями собирающейся тут художественной интеллигенции. «Героическое, возвышающее душу, присуще не одному классическому — греческому и римскому — миру; оно должно быть извлечено и из преданий русской древности и возведено искусством в классический идеал»<sup>2</sup>, — писал академик Майков о главной направленности творческой деятельности членов оленинского кружка. И вот здесь-то после окончания лицея часто бывает Пушкин, нашедший у Олениных самый восторженный прием и укрепивший здесь дружбу с Жуковским, Вяземским.

В доме Олениных Пушкин встречается также с Крыловым, с Карамзиным, тесно сближается с Гнедичем. Сохранилось любопытнейшее свидетельство — «баллада» («Что ты, девица, грустна...»), сочиненная



**А. Н. О л е н и н.**  
Гравюра Н. Уткина по рисунку Ф. Крюгера. 1836 г.



совместно Жуковским и Пушкиным в 1819 году по случаю дня рождения супруги Оленина Елизаветы Марковны. «Баллада» оканчивалась галантным пожеланием «многи леты»

Той, которую друзьям  
Ввек любить не поздно!

И далее — собственно конец — следовала общая здравица:

Многи леты также нам,  
Только с ней нерозно.

Но «нерозно» получилось не у всех. Пушкину в скором времени предстояло отправиться в ссылку. Сначала на юг, потом на «север», в псковскую деревню своей матери Михайловское.

Вернулся он в Петербург лишь в мае 1827 года, после семилетнего отсутствия.

Семь лет — это и не так уж как будто бы много, но такие семь лет, какими были эти годы пушкинского изгнания, изменили столицу куда сильнее, чем могли бы изменить ее другие полвека. Дух свободолюбия, дух надежд и упований на возможности перемен к лучшему, гнездившийся даже во многих из светских гостиных, сменился теперь «духом неволи». В эти семь лет произошло многое. Был декабрь 1825 года. Были допросы, дознания в царском дворце. Была виселица с пятью казненными декабристами. Виселица, многократно являвшаяся потом в виде жутких рисунков в пушкинских рукописях.

Многих друзей своих, добрых приятелей, с которыми был «в короткой связи», не нашел возвратившийся Пушкин в столице. А те, что остались, те волею неволею сделали выбор — одни стали сановниками, другие отправились в свои деревни «поливать капусту»<sup>3</sup>.

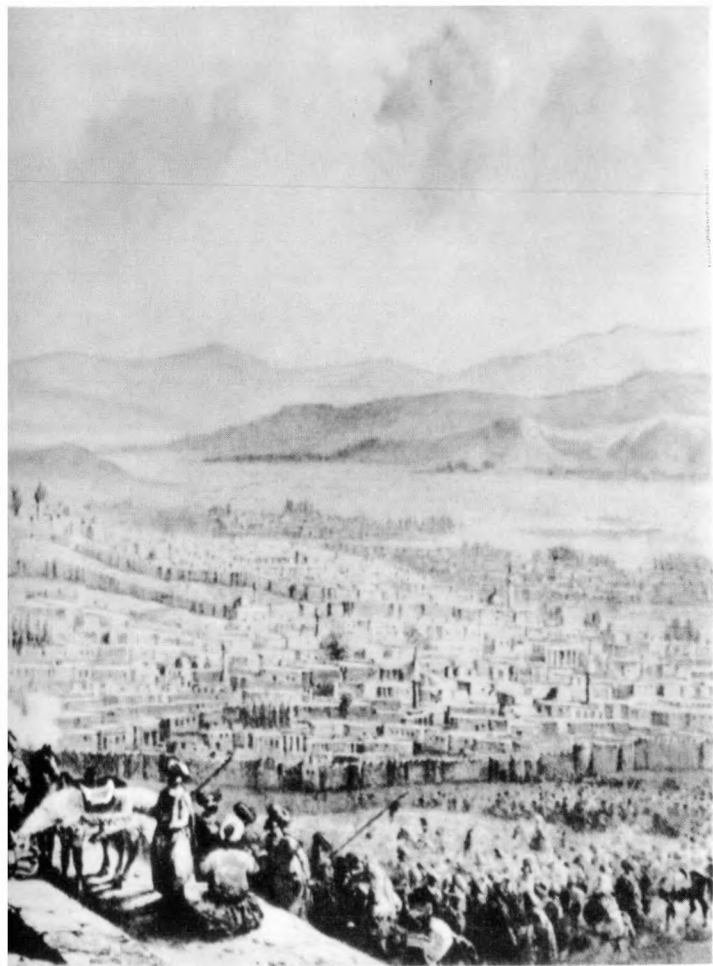


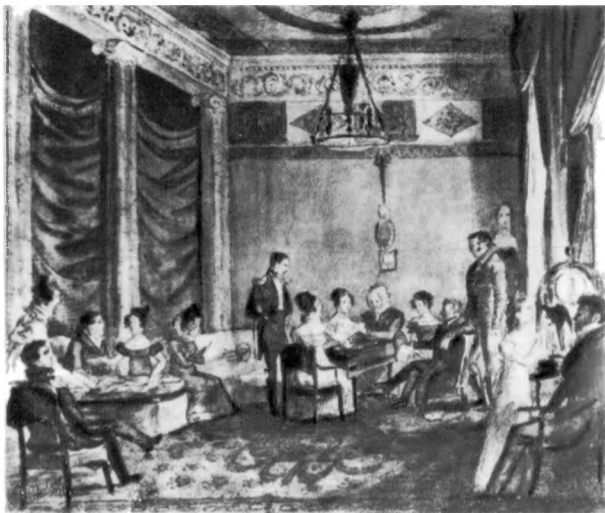
А. Н. О л е н и н.  
Акварель, пастель. Художник П. А. Оленин. 1820-е гг.

Президент Академии художеств, директор императорской Публичной библиотеки, действительный тайный советник Алексей Николаевич Оленин стал сановником. Членом Государственного совета и статс-секретарем департамента гражданских и духовных дел. Метаморфоза? Нет, пожалуй. В его доме и теперь



**Взятие Арзрума.**  
Литография Гольштейна, А. Байо  
с оригинала В. Машкова. 1829 г.





Гостиная Олениных.

Акварель неизвестного художника. 1810-е (?) гг.

очень радушно встретили возвратившегося в столицу поэта. Здесь любили, и знали, и по-прежнему высоко ценили его поэзию. И все же... И все же этот дом был уже не домом либерально настроенного ученого, знатока и любителя русской старины и античности, главы кружка, к которому близки были многие передовые деятели русской культуры и общественной мысли того времени, а дом члена правительства Николая I.

Возвратившись в Петербург, Пушкин, как и в прежние времена, стал часто бывать у Олениных. И хотя, как писал в письме к Гнедичу в июле 1827 года сам глава семьи Алексей Николаевич, «непостоянство судеб человеческих рассеяло приютинское общество

по лицу земли: многие лежат уже в могиле, многие влачат тягостную жизнь в дальних пределах света, а многие *ближние* рассеялись по странам...»<sup>4</sup> — у Олениных и в эти годы собиралось многочисленное общество литераторов, художников, музыкантов. Дом их продолжал оставаться одним из самых культурных и просвещенных домов Петербурга. Помимо многолетних его друзей и посетителей здесь постоянно бывают теперь Мицкевич и Грибоедов, молодой М. И. Глинка.

Непременной участницею и украшением литературных и музыкальных вечеров в доме отца своего была младшая дочь А. Н. Оленина — Анна. Хорошо образованная, очень изящная, музыкальная Анна полновластно царила в интеллигентном и мужском преимущественно обществе оленинского окружения. Ей посвящали стихи Крылов, Гнедич, И. И. Козлов, другие поэты. Аннета Оленина казалась Пушкину той самою девушкой, которая могла бы составить «счастье его жизни», стать ему верной подругой, женою. Браку этому не суждено было сбыться, и он мучительно, с острой тоскою переживает крушение этой мечты, за которой, возможно, стояла не только надежда на личное счастье, но и надежда на обретение — наконец-то! — долгожданного покоя, на успешное противостояние преследовавшему его «завистливому року».

Расстройство матримониальных планов поэта большинство исследователей склонно видеть в позиции, занятой родителями Анны Алексеевны, не желавшими для своей младшей дочери — любимицы и баловня всего семейства, фрейлины двора — этого брака. К осени 1828 года относят последовавший за расстройством брака разрыв поэта с домом Олениных.

В литературе о Пушкине часто можно встретить более или менее четко выраженную мысль о том, что



А. А. О л е н и н а.  
Акварель. Художник П. Соколов. Около 1825 г.

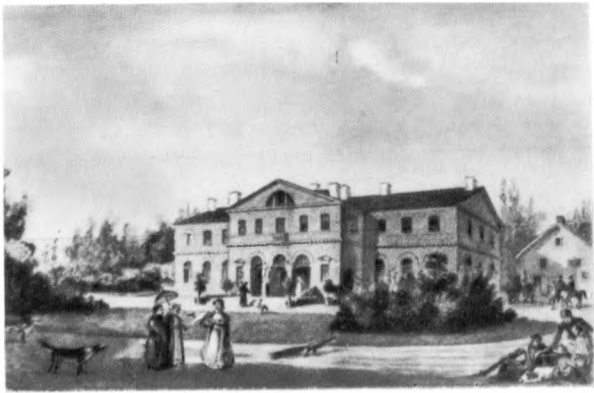
с осени 1828 года Пушкин не только резко прервал свои дружественные отношения с Олениными, но и стал питать острую к ним неприязнь и презренье. Вряд ли это так однозначно, однако. Что поэт был

обижен и уязвлен — несомненно. Что он перестал бывать у Олениных — тоже. Но вражда и презренье?.. Пожалуй что этого не было, хотя среди черновых вариантов к восьмой главе «Евгения Онегина» (декабрь 1829 года) можно встретить строки: «Тут был отец ее (Аннеты Олениной.— Л. К.) пролаз /Нулек на ножках».

Строки красноречивые, конечно, но, во-первых, они все-таки не включены поэтом в окончательную редакцию, а во-вторых, не забудем, что Пушкин был очень обижен, и обида эта была особенно тягостна оттого, что нанесена была людьми, которых он уважал и на уважение, а быть может, и дружбу или уж, во всяком случае, на понимание и сочувствие которых рассчитывал. Огорчение, и досада, и боль за отвергнутую любовь, и несправедливость не противников, а людей ему в общем дружественных, интеллигентных, должны были как-то прорваться — и в черновиках его рукописей появляются строки о «нульке на ножках».

Мы не имеем прямых (и вообще каких-либо, кроме приведенных строк) указаний и свидетельств резко отрицательного отношения Пушкина к А. Н. Оленину после осени 1828 года. О том, что Оленин «поправел», поэт знал и прежде. Но он знал также и о тех симпатиях, которые питали в семействе Олениных к сосланным и «влачащим тягостную жизнь в дальних пределах света» декабристам, о любви и причастности членов этой семьи к литературе, науке, искусству. А разрыва не последовать просто и не могло. Пушкин знал, что решение исходило от родителей, убоявшихся видеть его своим зятем. К тому же, по некоторым скудно дошедшим до нас свидетельствам, Елизавета Марковна, взявшая на себя обязанность отказать поэту в руке дочери, сделала это в довольно резкой форме. Поступок ее понятен. Она была светскою дамой. Женою сановника. Матерью дочери-фрейлины. Она и семья





Приютинo.

Акварель. Художник И. А. Иванов. 1825 г.

ее были благополучны во всем, и благополучия этого она терять не хотела. Пока поэт оставался гостем дома, украшавшим присутствием своим общество собиравшихся здесь литераторов, художников, музыкантов, она любезно принимала его и по-своему была ему рада. Но когда он захотел стать мужем ее дочери — она испугалась. Испугалась по-настоящему, потому что в ее глазах Пушкин был человеком, неудобным правительству, во-первых (а она была хорошо осведомлена обо всех обстоятельствах разного рода «расследований» и учреждения за поэтом «секретного надзора»), и чересчур «вертопрахом» — во-вторых. Решение об отказе она, разумеется, приняла совместно с мужем, но не желала этого брака, должно быть, гораздо сильнее его. Отсюда, вероятно, и та «суровость» ее к Пушкину, упоминание о которой мы встречаем в дневнике А. А. Олениной, опубликованном ее внучкою О. Н. Оом.

Интересна запись от 13 января 1830 года в дневнике знаменитой Дарьи Федоровны Фикельмон, внучки Кутузова, дочери друга Пушкина Елизаветы Михайловны Хитрово. «Вчера 12-го,— записала в дневнике Дарья Федоровна,— мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин (сестра Дарьи Федоровны графиня Е. Ф. Тизенгаузен.— Л. К.)... Пушкин, Скарятин... Мы побывали у английской посольши, у Лудольфов и у Олениных. Мы очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были тотчас узнаны...»<sup>5</sup>

«Своей, несомненно, точной записью Фикельмон задала нам нелегкую загадку»,— пишет Н. А. Раевский, автор широко известной книги «Портреты заговорили». «Следовало ожидать,— рассуждает он,— что после неудачного сватовства Пушкин по существовавшему и тогда и много позже обычаю перестанет бывать у Олениных...

При таких настроениях поэта совсем уже нельзя было предполагать, что 12 января 1830 года он в домино и маске войдет в дом Алексея Николаевича. «Впрочем, разгадка, быть может, в том и заключается,— продолжает Раевский,— что Пушкин был замаскирован. Отказываться от интересной поездки не хотелось. Надеялся, что не узнают, но ошибся»<sup>6</sup>. Могло быть и так, конечно. Но только, думается нам, в том обязательно случае, если поэт не считал в это время А. Н. Оленина своим зложелателем и разлад между ними не был ссорой врагов политических. В этом случае, надо полагать, ни шаткий резон замаскированности, ни нежелание отказаться от «интересной поездки» не смогли бы заставить Пушкина явиться в дом Олениных в домино.

Интересно отметить, что А. Н. Оленин в письме от 14 декабря 1832 года на запрос непременно



А. А. О л е н и н а.  
Рисунок О. Кипренского. 1828 г.

секретаря Российской академии П. И. Соколова в связи с избранием Пушкина в действительные члены академии ответил согласием. А весной 1835 года Оленин обратился к Пушкину с просьбой принять участие в сооружении памятника над могилой их

общего друга Гнедича, и поэт отвечал ему и переслал вместе со списком лиц, пожелавших «подписаться на памятник», пятьдесят рублей ассигнациями.

Вряд ли бы Пушкин снес молчаливо политическую враждебность к нему Оленина. Очень острый и беспощадный — в особенности к политическим своим врагам — эпиграммист, автор множества злых карикатур и сатирических рисунков, Пушкин даже и не пытается как-либо задеть Оленина, а в черновиках его рукописей в мае 1829 года (т. е. год почти спустя после разрыва) дважды появляются портреты Оленина без каких бы то ни было признаков отрицательных эмоций автора рисунков к портретируемому.

Это два известных нам прежде рисунка. Но вот и два «новых», того же, примерно, времени. Один из них находим в альбоме Елизаветы Ушаковой. Он очень похож на оба уже известных и тоже относится к 1829 году. Другой портрет — в черновиках писавшейся по свежим впечатлениям поездки на Кавказ поэмы «Тазит» (ПД 842, л. 23/12). Этот портрет — один из самых интересных пушкинских портретов А. Н. Оленина. Он находится рядом с профильным изображением дочери, Анны, портрет которой, по удачному выражению определившей его Р. Г. Жуйковой, является поэтичным портретом-воспоминанием.

Профиль Алексея Николаевича Оленина, так же, как и профиль Анны Алексеевны, откровенно романтизирован и выполнен в «высоком» стиле. Думается, не будет погрешностью сказать, что рисунок не только романтизирует внешность Оленина, но и как бы «классицизирует» облик этого замечательного знатока и исследователя античности (мощная обнаженная шея, крупный изогнутый нос, маленькие уши, свободный разлет бровей, гладкая, без вихров, прическа). Оленин был невысокого роста и довольно миниатюрного телосложения («малышка» Оленина унаследовала



П. А. О л е н и н.  
Акварель. Художник А. Брюллов. 1820-е гг.

эти отцовские качества) — портрет же походит на эдакого римского патриция — значительного, крупного, в расцвете физических сил. Но сомнения нет — это А. Н. Оленин. Сходство рисунка и со всею документальной иконографией Оленина и с известными ранее пушкинскими его портретами почти абсолютно (та же

форма головы, тот же глаз, рот, удлиненное маленькое ухо, та же линия лба и носа). А удивляться этому «классицизированному» облику Оленина после знакомства с автопортретом поэта, изобразившего себя конем среди коней настоящих, или портретом Александра Одоевского в черновиках «Полтавы», изображенного с длинным, свисающим почти до груди казацким усом,— уже не приходится. По всей видимости, мы имеем здесь дело все с той же «примеркою» поэтом-художником на лицо, реально существующее, хорошего его знакомого, некоего образа своей творческой фантазии, в данном случае, быть может, образа одной из «прикидок», возникшего по ассоциации с родом деятельности портретируемого.

И уж, конечно, самое появление портрета Оленина вместе с портретом его младшей дочери в черновиках «Газита» — отнюдь не случайность. Тут текст и портреты очевидно взаимосвязаны. Вспомним пушкинские наброски планов этой поэмы: I. Обряд похорон; уздень и меньший сын... любовь, отвергнутый; битва — монах. II. 1. Похороны. 2. Черкес христианин... 7. Любовь. 8. Сватовство. 9. Отказ...

Любовь — сватовство — отказ... Горячий, все еще волнующий поэта, сокровенно-личный мотив.

И он, не властный превозмочь  
Волнений сердца, раз приходит  
К ее отцу, его отводит  
И говорит: «Твоя мне дочь  
Давно мила. По ней тоскуя,  
Один и сир, давно живу я.  
Благослови любовь мою.  
Я беден, но могуч и молод.  
Мне труд легок. Я удалю  
От нашей сакли тощий голод.  
Тебе я буду сын и друг  
Послушный, преданный и нежный,  
Твоим сынам кунак надежный,  
А ей — приверженный супруг».



А. А. О л е н и н а.  
Масло. Художник А. Попов. 1842 г.

Это последние стихи неоконченной поэмы, но в черновых вариантах имеются строки, содержащие продолжение,— отказ отца девушки выдать дочь за Тазита:

· · · · ·  
«Какой безумец, сам ты знаешь,  
Отдаст любимое дитя!  
Ты мой рассудок искушаешь  
Иль празднословя, иль шутя.  
Ступай, оставь меня в покое».  
Глубоко в сердце молодое  
Тяжелый врезался укор,  
Тазит сокрылся — с этих пор  
Ни с кем не вел он разговора  
И никогда на деву гор  
Не возводил несчастный взора.  
· · · · ·

Лист, на котором мы видим портреты Алексея Николаевича и Анны Алексеевны Олениных, покрыт черновыми вариантами этих строк; на левом развороте листа — другой черновой вариант «отказа»:

Ему внимал старик угрюмый,  
Главою белой покачал.  
И мрачно... отвечал:  
Я не отдам моей орлицы...

Простое совпадение здесь, надо думать, исключается. Незабываемая горечь неудавшегося сватовства, недавние тягостные воспоминания — и на соседний, пока еще чистый лист ложатся точные зарисовки — сначала отца, потом дочери с возведенными кверху «ангельскими» глазами...

.....То ли дело  
Глаза Олениной моей!  
Какой задумчивый в них гений,  
И сколько детской простоты,  
И сколько томных выражений,  
И сколько неги и мечты!..  
Потупит их с улыбкой Леля —  
В них скромных граций торжество;  
Поднимет — ангел Рафаэля  
Так созерцает божество.



~~Handwritten text~~  
Handwritten text ~~Handwritten text~~



~~Handwritten text~~  
~~Handwritten text~~  
~~Handwritten text~~  
~~Handwritten text~~  
~~Handwritten text~~

Handwritten text

Handwritten text

Handwritten text  
Handwritten text  
Handwritten text



*Николай Дмитриевич*  
**КИСЕЛЕВ**

~~Alasan~~ ~~suprem~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~



~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~

1. ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~

~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~

~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~

~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~

~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~ ~~kepercayaan~~

**Ж**изнь великого человека неизбежно оказывается связанной с жизнью его выдающихся современников, сопряженной с их деятельностью, их идеями, их трудами. Великий поэт привлекает к себе крупнейших ученых, мыслителей, литераторов, государственных и общественных деятелей своего времени и, конечно, поэтов. Другьями, приятелями, корреспондентами и знакомыми Пушкина были Жуковский и Вяземский, Рылеев и Дельвиг, Грибоедов и Гоголь, Волконский, Раевские, Баратынский, Мицкевич... И Пушкин их всех рисовал. Рисовал для себя, обычно — в своих рабочих тетрадях. Рисовал, потому что думал о них, вспоминал, восхищался их сочинениями или полемизировал, наоборот, в чем-то с ними не соглашался. Они все — неотъемлемы от его умственной жизни, духовной и художественной его работы; они — его питательная среда, его творческие импульсы и потенции. Но не только они одни вызывали интерес и творческое внимание поэта. В повседневной жизни своей он знакомился, и дружил, и любил и людей обыкновенных вполне, не влиявших на судьбы отечественной истории и литературы. Как никто другой ценил Пушкин в людях, его окружавших, доброту, безыскусственность, чуткость, благородство мыслей и поведения, непосредственность, живость — и особенно — остроумие, чувство изящного, красоты вообще, чувство пластики слова.

Пушкин преданно, нежно любил Павла Воиновича Нащокина, самого близкого

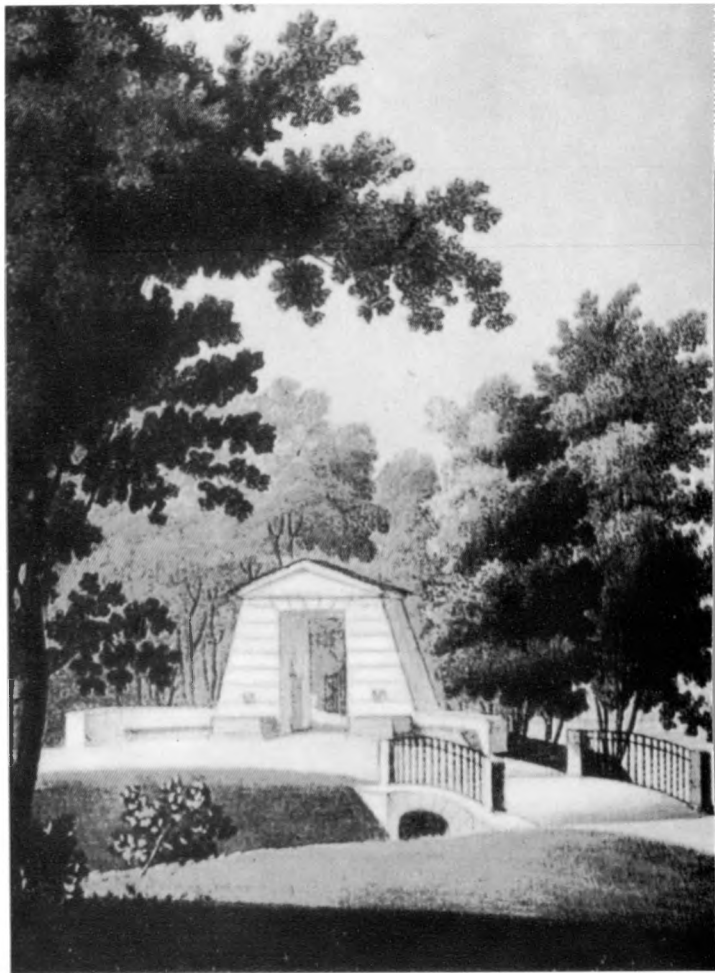
своего друга последних лет жизни, который не был отнюдь ни писателем, ни философом, ни героем, стяжавшим военную славу. Павла Воиновича отличала особая цельность натуры, позволявшая ему оставаться таким, каков есть, при любых обстоятельствах и поворотах фортуны, иметь верное сердце, открытую душу и быть другом друзей своих, что совсем не так часто встречается в жизни.

Пушкин очень ценил, уважал и любил Прасковью Александровну Осипову (в первом браке Вульф), хозяйку Тригорского и Малинников, прочно связанных с биографией множества сочинений поэта, — женщину умную, образованную, с поэтическим вкусом и способностью тонкого понимания искусства. По наитию умного своего сердца П. А. Осипова сделала для поэта именно то, в чем он более всего нуждался в подневольные годы михайловского «сидения» — она создала для него в своем доме в Тригорском ту необходимую ему для творчества атмосферу живого, острого, молодого интереса к нему и его поэзии, которой он, насильственно отторгнутый от друзей-литераторов, единомышленников, людей, близких ему по духу, начисто был лишен в ссылке.

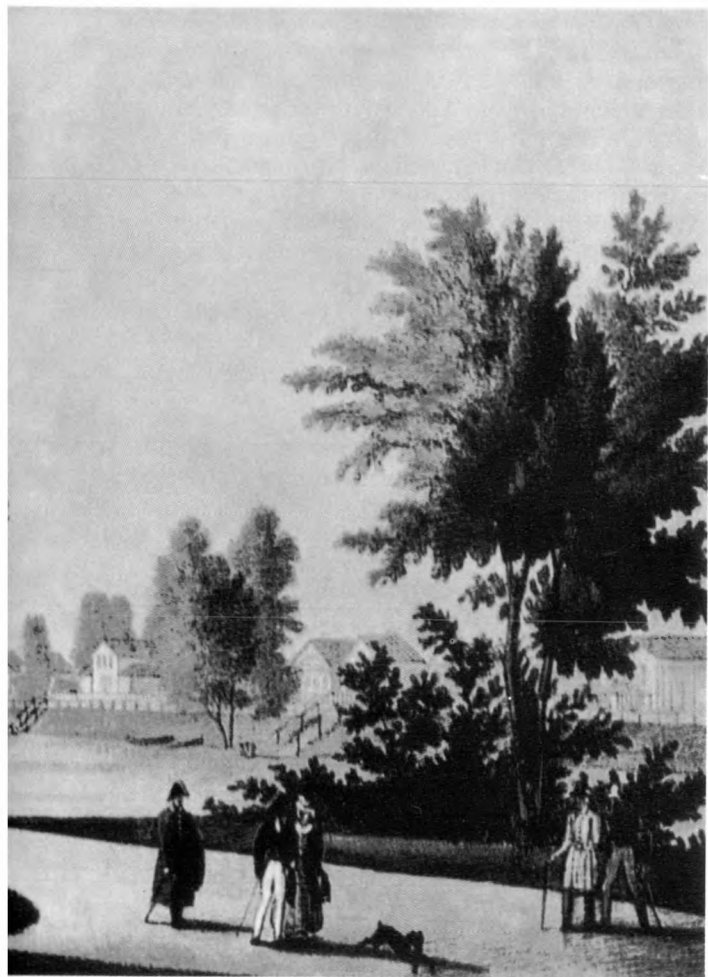
Глава многочисленной и разной по возрасту семьи, жившей по большей части в провинциальной глуши Псковской и Тверской губерний, Прасковья Александровна умела поддерживать в доме своем огонек духовной, интеллектуальной жизни, где немалое место занимали поэзия, музыка, даже политика и проблемы общественного устройства. Из Петербурга выписывались журналы и книги, молодежь читала и спорила и конечно же поклонялась ему, своему кумиру, «первенствующему поэту русскому». А Прасковья Александровна была настоящим другом Пушкину. Преданным, верным, надежным. Она была другом ему всегда — с самых первых, томительных дней михайлов-



Н. Д. Киселев.  
Фотография



Черная речка. Гравюра на стали,  
раскрашенная акварелью.  
Неизвестный художник. 1830-е гг.





ской ссылки и до последних часов его жизни. Она оставалась верным другом ему и после его смерти, свято храня в душе своей дорогую ей память о днях их общения.

Немало было в жизни поэта и других людей, с которыми связывали его узы дружбы, симпатии, обоюдного интереса и просто товарищества, не менявшихся с годами и не тускневших. А были и люди, общение с которыми, тесное поначалу, со временем прекращалось — жизнь уводила их в сторону, где не было уже ни самого поэта, ни того, что их некогда связывало, объединяло. Одной из таких фигур в биографии Пушкина был Николай Дмитриевич Киселев, близкий друг и хороший знакомый Языкова, Вяземского, Грибоедова, петербургских Олениных, А. О. Смирновой.

Николай Киселев познакомился с Пушкиным, по всей видимости, в Москве, но по-настоящему сблизился с ним весной 1828 года в Петербурге, куда он приехал после второй своей поездки в Персию. Товарищ Языкова по Дерптскому университету, родной брат хорошо знакомого Пушкину по Москве Сергея Дмитриевича Киселева, женившегося в 1829 году на младшей из сестер Ушаковых, московских приятельниц Пушкина, Елизавете Николаевне, а в бытность поэта в Москве, вместе с ним постоянно бывавшего у Ушаковых на Пресне, — Николай Киселев обладал, надо думать, не только живым и общительным характером и приятной наружностью, но и скромностью, тактом и очевидной порядочностью при обаянии светского образованного человека, делавшими его общество привлекательным для Мицкевича, Пушкина, Грибоедова, Вяземского, в чей тесный дружеский круг он был принят как равный.

Вот что рассказывал Киселев о себе Александре Осиповне Смирновой (Россет).

«Моя мать никогда не могла утешиться после смер-

ти моего старшего брата Александра, который был убит в шестом году, во время войны с турками... Брак моего брата Сергея (Сергея Дмитриевича Киселева.— Л. К.) ей не нравился, это удалило его от семьи. Мой брат Павел (Павел Дмитриевич Киселев, генерал, крупный государственный деятель.— Л. К.)... проделал все походы, и вся привязанность моей матери сосредоточилась на мне. После заключения мира Павел вернулся в Москву и сказал мне, что так как у меня нет состояния, я должен сделать карьеру, что в наше время — нужно учиться... Я очень хорошо знал по-латыни. Он сказал, чтобы я изучил греческий. Он нашел очень хорошего учителя с греческого подворья и сказал мне: «В восемнадцать лет ты поедешь в Дерпт для изучения классических наук, это лучший университет». Я поехал туда с Языковым, который имел рекомендательные письма к профессору Мойеру»<sup>1</sup>.

И чуть далее: «...Я слушал курсы философии и филологии в Дерпте... Дерпт был для меня великой школой, там я начал понимать музыку. ...Мой вкус к живописи развился тоже у Мойера...

...Я с грустью покинул это пристанище (Дерптский университет.— Л. К.), расстался с лучшим своим другом Языковым. Я был первым, которому он прочитал свои ранние произведения. Он направился в Москву, а я и мой верный Михайло поехали в Петербург. Я никого там не знал... Благодаря Языкову, познакомился с Пушкиным... Грибоедов был другом нашего дома, он хотел увезти меня с собой в Персию, но граф Нессельрод велел ему взять Мальцева и сказал ему: «Я берегу маленького Киселева для большого посольства в Риме или Париже, он в совершенстве знает французский язык. У него есть такт, у него приятный характер, и он всюду сумеет приобрести друзей»<sup>2</sup>.

Не исключено, что этот пересказ Смирновой содержит некоторые неточности, возможно даже идущие от самого рассказчика, но он все-таки неплохо знакомит нас с молодым дипломатом, ранней весной 1828 года приехавшим в Петербург и вскоре ставшим полноправным членом дружеской компании Пушкина, Грибоедова, Вяземского, Мицкевича, Алексея Оленина (сына). Николай Киселев постоянно участвует в их беседах, их встречах, поездках. Так же, как Пушкин, Мицкевич и Вяземский, Киселев — неперменный гость в доме Олениных. Имя его довольно часто упоминается в дневниковых записях Аннеты Олениной, которая признается в них, что охотно вышла бы за Киселева замуж, хотя он и «не такая большая партия». (Это было почти что в то самое время, когда к ней сватался Пушкин.) Киселев же как будто отнюдь не стремился соперничать с Пушкиным. А. А. Оленина в дневнике своем воспроизводит откровенный разговор с близким другом их дома Иваном Андреевичем Крыловым, который, по свидетельству Анны Алексеевны, сказал ей: «...Я желал бы, чтобы Вы вышли за Киселева и, ежели хотите знать, он сам того желает. Но он и сестра (Варвара Дмитриевна Полторацкая, рожденная Киселева, жена дяди Олениной Алексея Марковича Полторацкого, сестра Н. Д. Киселева.— Л. К.) говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин того же желает»<sup>3</sup>.

Как бы там ни было однако, но Киселев к А. А. Олениной не сватался и отношения его с Пушкиным оставались неомраченными. Анна Алексеевна же весьма сожалела о нерешительности Николая Дмитриевича. «Жаль, очень жаль,— записала она в дневнике,— что не знала я этого (что Киселев к ней равнодушен и непрочь был бы на ней жениться.— Л. К.), а то бы поведение мое было иное»<sup>4</sup>. По всей вероятности, он все же очень ей нравился, потому что

«большой партией» Киселев в ту пору действительно не был.

Любопытен в этом отношении один из рассказов Н. Д. Киселева, записанный с его слов А. О. Смирновой: «Я лишь раз был в Царском Селе и ничего не видел. Я был слишком беден, чтобы позволить себе прогулку в экипаже, и я пришел туда пешком с Пушкиным, который такой же прекрасный «capitaine d'infanterie» \*, как и я»<sup>5</sup>.

Об участии Н. Д. Киселева в увеселительной поездке морем в Кронштадт 25 мая вместе с Олениными, Пушкиным, Грибоедовым, Шиллингом говорится в письме П. А. Вяземского к жене от 26 мая 1828 года.

Май и июнь были временем чуть ли не каждодневных встреч дружеской компании Грибоедов — Мицкевич — Пушкин — Вяземский... и в черновиках пушкинских рукописей этой поры можно видеть портретные зарисовки друзей его — членов тесно спаянного кружка: Грибоедова (ПД 838, л. 13), Мицкевича (ПД 838, л. 14 об.), Киселева (ПД 838, л. 24 об.).

Портретного изображения Николая Дмитриевича Киселева, сделанного пушкинскою рукою, до самого последнего времени нам известно не было, хотя с трудом верилось в то, что его и вправду нет среди многочисленных рисунков поэта, запечатлевшего в них очень многих добрых друзей своих и хороших знакомых, оставивших сколько-нибудь заметный след в его жизни.

В 1828 году Николай Киселев был молод, обаятелен, хорош собою, и портрет его должен бы был, как казалось, найтись без особых трудов и сомнений, тем более что черты лица его, известные нам по изображению, пусть позднейшему, но зато фотографическому, то есть собственно документальному, отличались

\* Капитан пехоты (франц.).

особой, запоминающейся характерностью. Увы, это только казалось. На самом же деле не один и даже не десять раз лист с портретом Н. Д. Киселева был просмотрен и отложен в сторону, пока наконец рисунок не был узан. Говорят, когда что-то старательно, долго и ревностно ищешь — находишь всегда неожиданно. Это верно. Искать некое определенное лицо среди великого множества разбросанных по рукописям пушкинских рисунков — значит, в первую очередь, постепенно сужать площадь поиска, приближаясь неуклонно к тем листам рукописей, где тебя ждет встреча с тем, кого ищешь. А когда просматриваешь черновики 1828 года, в которых определено уже столько портретов и в которых неузнанными осталось сравнительно не так уж и много портретных изображений, надежды на скорый успех поиска возрастают. Но проходит время — и часто немалое — пока рисунок не «откроется» наконец. И всякий раз почти — неожиданно. Будто проявляется вдруг что-то невидимое до того — и живым и знакомым становится взгляд; губы, бровь, подбородок, весь абрис лица узнаются, как бы только подсказанные рисунком, а вообще-то давно уже известные...

Молодой дипломат Николай Дмитриевич Киселев изображен Пушкиным в профиль, лицом к левому — более широкому — полю тетрадного листа, где за несколькими черновыми строками из «Полтавы» следуют строки стихотворения «Рифма, звучная подруга...». Рисунок сделан чернилами, по всей вероятности, раньше «полтавских» строк о дочери Кочубея, которые его с трех сторон окружают. Строки эти (*[Природа] странно воспитала/ Ей душу в тишине степей/ И жертвой пламенных <страстей>/ Судьба Нат<алью> назначала*) вплотную подходят к портрету, тщательно его огибая, и это дает основание думать, что портрет появился до текста. А если это так, если

портрет Киселева действительно был нарисован поэтом еще до стихов, среди которых мы его находим, то датировка его, очевидно, должна быть более ранней, чем датировка текста (предположительно вторая половина августа — сентябрь 1828 года), и это прекрасно увязывается с тем, что нам известно о пребывании Н. Д. Киселева весной — летом 1828 года в Петербурге.

...Мягкий, внимательный взгляд умных глаз, выдающийся крупный мужской подбородок, характерно изогнутая линия рта. Оригинальное, привлекательное, молодое и чистое лицо. Точно такое, каким его хотелось видеть: «...А я-то медведем сидел, или у Пушкина <бывал>... Пушкин меня гладил по головке и говорил: «Ты паинька, в карты не играешь и любовниц не водишь...»<sup>6</sup>

14 июня 1828 года Николай Дмитриевич Киселев покидал Петербург. Его назначили третьим секретарем русского посольства в Париже, но при этом решили ехать в Карлсбад для лечения тамошними водами. Из Карлсбада ему надлежало отправиться сначала в Вену, а потом на театр военных действий русской армии в Турцию, к министру иностранных дел графу Нессельроде. Путь его лежал через Дерпт, где все еще жил так и не окончивший университета Языков, и Пушкин отправил ему с Киселевым шутовское стихотворное послание («К тебе сбирался я давно...»), где упомянуто и имя Николая Киселева:

К тебе сбирался я давно  
В немецкий град, тобой воспетый,  
С тобой попить, как пьют поэты,  
Тобой воспетое вино.  
Уж зазывал меня с собою  
Тобой воспетый Киселев,  
И я с веселою душою  
Оставить был совсем готов  
Неволю невских берегов.

И что ж? Гербовые заботы  
Схватили за полы меня,  
И на Неве, хоть нет охоты,  
Прикованным остался я.

В тот же день, 14 июня, Пушкин вписал в записную книжку Киселева, на первую ее страницу, и стихотворное послание к нему самому:

Ищи в чужом краю здоровья и свободы,  
Но север забывать грешно,  
Так слушай: поспешай карлсбадские пить воды,  
Чтоб с нами снова пить вино.

И здесь же, на внутренней стороне переплета этой записной книжки, Пушкин карандашом нарисовал свой портрет — на память. Красноречивые знаки внимания и душевной расположенности, не правда ли?

И еще раз случилось помянуть в это лето Пушкину симпатичного ему Киселева — на этот раз в письме к П. А. Вяземскому от 1 сентября из Петербурга в Пензу: «...Пока Киселев и Полторацкие были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом

А в ненастные дни собирались они

часто...

Но теперь мы все разбрелись. Киселев, говорят, уже в армии; Junior (Алексей Оленин-сын.— Л. К.) в деревне...»

«Разбрелась», распалась дружеская компания. Кого куда развеял, разбросал по свету «завистливый рок». За неделю до Киселева уехал из Петербурга Вяземский. Уехал в Персию министром-резидентом Грибоедов.

Ровно через год, в июне 1829 года, Пушкин встретил близ армянской крепости Гергеры арбу с телом убитого в Тегеране поэта, чей профиль, по счастливой

привычке запечатлеть на бумаге лица друзей своих, он дважды нарисовал летом 1828 года над начальными строками «Предчувствия».

А Николая Дмитриевича Киселева, молодые прекрасные глаза которого и сегодня, как полтора века назад, задумчиво глядят куда-то вдаль с чернового листа пушкинской рукописи, еще долго носила по свету многосуетная дипломатическая судьба его — Лондон, Париж, Рим, Флоренция...

Умер он в 1869 году в Италии.





Александр Сергеевич Грибоедов... Петр Александрович Плетнев... Александр Одоевский... Николай Раевский... Оленин... Ермолов... декабрист князь Волконский... Современники Пушкина. Его знакомые и друзья. Его соотчичи. Они — блистательная эпоха русской истории и культуры, и Пушкин познакомил нас с ними, не только поэтически эту эпоху выразив, но и донеся до нас иконографически конкретные черты замечательнейших ее представителей. Нарисовав для себя по памяти их портреты, поэт рассказал нам тем самым немало и о них и о самом себе тоже. «Пушкинская графика — «зрительный дневник». Это — своего рода автобиография в рисунках»<sup>1</sup>, и, научившись этот «дневник» читать, мы глазами Пушкина увидели тех, кто его привлекал, о ком думал он, чьи поступки и судьбы его волновали. Счастливый этот дар его — рисовать, пронося через время в графических образах «оттиски жизни», — позволяет нам, уж далеким, в сущности, его потомкам, подойти очень близко к конкретным истокам его образов поэтических, его творческой мысли, фантазий, влечений, позволяет от сердца к сердцу почувствовать душу поэта, умевшего так открыто, так полно и так прекрасно выразить то сокровенное и святое, живущее в каждом из нас, что от века зовется любовью к отчизне,—

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

Замечательная поэтическая формула эта в рабочих пушкинских черновиках имеет не менее замечательное завершение, лишний раз свидетельствуя о том, что черновые рукописи поэта — неистощимый источник обогащения и наших знаний, и наших чувствований, и представлений наших о мире и о себе:

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века  
По воле бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Автографы А. С. Пушкина хранятся в Институте русской литературы (ИРЛИ) Академии наук СССР (Пушкинском доме) в Ленинграде — фонд 244, опись 1. В настоящем издании при описании рисунков поэта номера фонда и описи, общие для всех воспроизводимых автографов, не указываются, а даются лишь номер пушкинской тетради (если рисунок находится в тетради или так называемом Ушаковском альбоме) и затем лист или номер негатива, под которым рисунок значится в Рукописном отделе Пушкинского дома (ПД).

Сочинения и письма Пушкина (за исключением случаев, особо оговоренных) цитируются по изданию: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10-ти т. 4-е. изд. Л.: Наука, 1977—1979; сноски на них не даются, так как все необходимые данные для нахождения соответствующей цитаты имеются в тексте.

### От автора

<sup>1</sup> Литературное наследство. Т. 84. Иван Бунин. Кн. 1-я. М. 1973, с. 385, 386.

<sup>2</sup> Литературное наследство. Т. 90. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 2-я. М., 1979, с. 47.

### Удивительный автопортрет

<sup>1</sup> *Эфрос А. М.* Мастера разных эпох: Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979, с. 112.

<sup>2</sup> Там же, с. 126.

<sup>3</sup> Автопортрет этот имеет также некоторое — весьма отдаленное, впрочем, — сходство и с обезьяной. Вспомним в связи с этим запись Пушкина о себе в шуточном протоколе лицейской годовщины 19 октября 1828 года: «Пушкин — француз (смесь обезьяны с тигром)». Пущенное в оборот Вольтером выражение «*tigre-singe*» («смесь обезьяны и тигра») в пушкинское время широко

употреблялось как фразеологизм, означающий «француз». Таким образом, обе лицейские клички Пушкина «по сути являются одной кличкой... и ее парафразом,— пишет Ю. М. Лотман.— Именно так воспринимал это и сам поэт, когда писал вторую в скобках как расшифровку первой... Однако кличка, которая в своей первооснове... никаких зрительных ассоциаций не имела, будучи отнесена к Пушкину, получила дополнительные смыслы в связи с некоторыми особенностями мимики и внешности поэта. Одновременно, получив, видимо, широкую огласку, она давала поверхностному наблюдателю готовый штамп восприятия именно внешности» (подробно об этом см.: *Временник Пушкинской комиссии*. 1976. Л., 1979, с. 110—112). Вполне вероятно, что этот штамп восприятия его внешности мог оказать, в свою очередь, влияние и на него самого (своеобразное обратное влияние).

<sup>4</sup> *Сергеенко П. А.* Толстой и его современники. М., 1911, с. 172, 173.

#### Н. Н. Раевский. С. Г. Волконский

<sup>1</sup> *Эйдельман Н.* Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979, с. 315.

<sup>2</sup> Там же, с. 315—316.

<sup>3</sup> *Литературное наследство*. Т. 58. М., 1952, с. 163.

<sup>4</sup> Там же, с. 166.

<sup>5</sup> Там же, с. 164.

<sup>6</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 1, с. 363.

<sup>7</sup> Там же, с. 366.

<sup>8</sup> См.: *Литературное наследство*. Т. 60, кн. 1-я. Декабристы-литераторы. II. М., 1956, с. 410.

<sup>9</sup> *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Художественная литература, 1974, т. 2, с. 577.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> *Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты*. М.; Л., Academia, 1935, с. 161.

<sup>12</sup> *Записки Сергия Григорьевича Волконского (декабриста)*. СПб., 1902, с. 432.

<sup>13</sup> Колокол, 1866, л. 212 от 15 янв., с. 1733—1735.

<sup>14</sup> «Твой дорогой портрет, написанный Изабэ, тут перед моими глазами; ты знаешь, как поразителен он сходством»,— писала брату в тюрьму княгиня С. Г. Волконская 14 июля 1826 года (см.: *Звенья*, III—IV. М.; Л., 1934, с. 50).

<sup>15</sup> *Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820 годов*. М., 1933, т. 2, с. 73.

- <sup>16</sup> Записки Сергія Григорьевича Волконского (декабриста), с. 409.
- <sup>17</sup> Там же, с. 425, 426, 427.
- <sup>18</sup> Там же, с. 427.
- <sup>19</sup> Там же, с. 225, 226.
- <sup>20</sup> Там же, с. 226, 227.
- <sup>21</sup> Звенья, III—IV. М.; Л., 1934, с. 34.
- <sup>22</sup> Записки Сергія Григорьевича Волконского (декабриста), с. 445.
- <sup>23</sup> Там же, с. 452.
- <sup>24</sup> Звенья, III—IV. М.; Л., 1934, с. 34.
- <sup>25</sup> Там же, с. 41.
- <sup>26</sup> Петр Владимирович Долгоруков. Петербургские очерки: Pamфлеты эмигранта. 1860—1867. М., 1934, с. 372—373.
- <sup>27</sup> Записки Сергія Григорьевича Волконского (декабриста), с. 407.
- <sup>28</sup> Звенья, III—IV. М.; Л., 1934, с. 90.
- <sup>29</sup> Там же.
- <sup>30</sup> Записки Сергія Григорьевича Волконского (декабриста), с. 479.
- <sup>31</sup> Прометей. М., 1972, т. 9, с. 22.
- <sup>32</sup> Там же, с. 30.
- <sup>33</sup> Там же.
- <sup>34</sup> Там же.
- <sup>35</sup> Там же.
- <sup>36</sup> Там же, с. 30, 31.
- <sup>37</sup> Там же, с. 42.
- <sup>38</sup> Там же, с. 33.
- <sup>39</sup> С. Г. Волконский генерал-адъютантом не был; этот чин имел муж сестры С. Г. Волконского, Софьи, князь П. М. Волконский, впоследствии получивший звание фельдмаршала («...государю надобен был собственный человек, и конечно никто другой не мог занимать место генерал-адъютанта князя Волконского», — писал о нем А. П. Ермолов — «Записки Алексея Петровича Ермолова». М., 1863, с. 294).
- <sup>40</sup> Литературное наследство. Т. 90. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 1-я. М., 1979, с. 121.
- <sup>41</sup> Новый мир, 1979, № 12, с. 76.

А. И. О до евский

- <sup>1</sup> Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 48.
- <sup>2</sup> Литературное наследство. Т. 60, Декабристы-литераторы. II. кн. 1-я. М., 1956, с. 262.

<sup>3</sup> Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1980, т. 2, с. 219.

<sup>4</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 2, с. 105.

А. С. Грибоедов

<sup>1</sup> Литературная газета, 1972, 31 мая.

<sup>2</sup> Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. 2, с. 259.

<sup>3</sup> Речь идет именно о черновом карандашном, а не об окончательном тексте стихотворения, как это в свое время было понято Н. В. Измайловым (см.: *Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 44).

<sup>4</sup> Первый черновой автограф этого стихотворения датируется в академическом издании Полного собрания сочинений Пушкина июлем — 15 августа 1828 года. Расположенный на листе семнадцатом (на обороте) и, похоже, не отстоящий сколько-нибудь значительно по времени от текстов, непосредственно ему предшествующих (лист шестнадцатый, оборот: «Волненьем жизни утомленный» — 25 июня 1828), автограф этот, может (далее Пушкин пишет уже карандашом), быть также отнесен к концу июня. Возможно, это отчасти подкрепляется и тем, что впервые Пушкин, быть может, пытался осуществить этот замысел еще 9 мая; на эту мысль наводит зачеркнутая незаконченная поэтическая строка «Как юный», написанная теми же чернилами, что и запись на листе тринадцатом «9 мая 1828. Море. Ол. (енина, или: Оленины) Дау», и непосредственно этой записи предшествующая (ср. строку «Как древле юный расточитель» первого черного автографа стихотворения — лист семнадцатый, оборот). Предположительность предложенной датировки объясняется тем, что «с конца июня, в течение двух летних месяцев и до середины сентября, хронология текстов в тетради теряет свою ясность, и мы можем лишь приблизительно и чисто предположительно распределять их во времени, руководствуясь «положением в рукописи» (*Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина, с. 43).

<sup>5</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 2, с. 67.

<sup>6</sup> Там же, с. 68.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Глинка М. Записки. Л., 1953, с. 63.

<sup>9</sup> Пушкин. Исследования и материалы, т. 2, с. 256.

<sup>10</sup> Там же, с. 255.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. СПб., 1911, т. 1, с. LXXXII—LXXXIII.

<sup>13</sup> Цявловская Т. Рисунки Пушкина. М., 1970, с. 7.

<sup>14</sup> Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., с. CIV.

## А. Мицкевич

- <sup>1</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1882, т. 7, с. 321.
- <sup>2</sup> Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 79.
- <sup>3</sup> Там же, с. 78.
- <sup>4</sup> Литературное наследство. Т. 47—48. М., 1946, с. 237.
- <sup>5</sup> Русский архив. М., 1905, № 2, с. 330.
- <sup>6</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. т. 7, с. 328, 329.
- <sup>7</sup> Там же, с. 326, 327.
- <sup>8</sup> См.: Прометей, т. 10. М., 1974, с. 182.
- <sup>9</sup> *Смирнова-Россет А. О.* Автобиография (неизданные материалы). М., 1931, с. 288.
- <sup>10</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. т. 7, с. 317.
- <sup>11</sup> Там же, с. 316.
- <sup>12</sup> Там же, с. 317.

## П. А. Плетнев

- <sup>1</sup> *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17-ти т. М.; Л., 1937—1959. т. 14, с. 93.
- <sup>2</sup> Там же, т. 13, с. 189.
- <sup>3</sup> Там же, с. 316.
- <sup>4</sup> Там же, т. 14, с. 194.
- <sup>5</sup> Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 76.
- <sup>6</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 2, с. 257.
- <sup>7</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1882, т. 7, с. 329.
- <sup>8</sup> *Эфрос А.* Пушкин портретист. Два этюда. М.: Гослитмузей, 1946, с. 223.
- <sup>9</sup> *Эфрос А. М.* Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979, с. 113.
- <sup>10</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 129.

## А. П. Ермолов

- <sup>1</sup> Записки Алексея Петровича Ермолова. Ч. I. 1801—1812. М., 1865, с. I.
- <sup>2</sup> Записки Алексея Петровича Ермолова [Материалы для истории войны 1812 года]. М., 1863.
- <sup>3</sup> Там же, с. 176, 192—193.
- <sup>4</sup> *Майков Л.* Пушкин. СПб., 1899, с. 361.
- <sup>5</sup> Записки Сергия Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902, с. 327, 328.

<sup>6</sup> Воспоминания В. А. Полторацкого.— Исторический вестник. СПб., 1893, т. LI, с. 49.

<sup>7</sup> Цит. по кн.: *Кавтарадзе А. Г.* Генерал А. П. Ермолов. Тула. 1977, с. 89.

<sup>8</sup> Там же, с. 91.

<sup>9</sup> Записки Сергия Григорьевича Волконского (декабриста), с. 414, 415, 416.

<sup>10</sup> Цит. по: кн.: *Кавтарадзе А. Г.* Генерал А. П. Ермолов, с. 92.

<sup>11</sup> Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863, с. 113, 114.

<sup>12</sup> Там же, с. 8, 9.

<sup>13</sup> Там же, с. 13.

<sup>14</sup> Там же, с. 26, 27.

<sup>15</sup> *Толстой Л. Н.* Собр. соч. в 14-ти т. М., 1951, т. 6, с. 49.

<sup>16</sup> Там же, с. 50, 51.

<sup>17</sup> Там же, с. 43.

<sup>18</sup> Там же, с. 55.

<sup>19</sup> Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863, с. 189.

<sup>20</sup> *Толстой Л. Н.* Собр. соч. в 14-ти т., т. 6, с. 340.

<sup>21</sup> Знаменательно, что, публикуя в 1830 году отрывок из «Путешествия в Арзрум» в «Литературной газете», Пушкин снял упоминание о Ермолове и рассказ о своей с ним встрече.

<sup>22</sup> Алексей Петрович Ермолов: Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным. М., 1864, с. 6.

## А. Н. О л е н и н

<sup>1</sup> Портреты воспроизведены и атрибутированы в кн.: *Керцелли Л.* Тверской край в рисунках Пушкина. М., 1976.

<sup>2</sup> *Майков Л. Н.* Батюшков, его жизнь и сочинения. СПб., 1896, с. 39.

<sup>3</sup> «...Я не сообщаю вам ни политических, ни литературных новостей,— пишет Пушкин в мае 1832 года своему другу П. А. Осиповой из Петербурга,— думаю, что они вам надоели так же, как и всем нам. Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе, посреди своей светской и суматошной жизни».

Выражение «поливать капусту» восходит, надо думать, к французской поговорке «отправиться сажать капусту» («aller planter ses choux»), означающей «удалиться в деревню на покой» (ср. строку «Капусту садит, как Гораций» в шестой главе «Евгения Онегина»). Вообще надо заметить, что устойчивые лексические единицы типа коротких пословиц и фразеологизмов вне непосредственного употребления в их собственном значении могут «работать» в языке



(обычно в разного рода каламбурах) и в значениях составляющих эту языковую единицу смыслов, как в случае с выражением «поливать капусту», где очевидно обыгрывается и смысл известной половицы, и изначальный, «допословичный» смысл одного из ее компонентов.

<sup>4</sup> Цит. по кн.: Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. 2, с. 236.

<sup>5</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 2, с. 140.

<sup>6</sup> Раевский Н. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1976, с. 223.

#### Н. Д. К и с е л е в

<sup>1</sup> Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы). М., 1931, с. 201.

<sup>2</sup> Там же, с. 202—203.

<sup>3</sup> Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. 2, с. 262.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы), с. 208.

<sup>6</sup> Там же, с. 175.

\* \*  
\*

<sup>1</sup> Эфрос А. М. Мастера разных эпох: Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979, с. 113.

# *Содержание*

*От автора*

*5*

*Удивительный автопортрет*

*11*

*Николай Николаевич Раевский.  
Сергей Григорьевич Волконский*

*19*

*Александр Иванович Одоевский*

*53*

*Александр Сергеевич Грибоедов*

*67*

*Адам Мицкевич*

*87*

*Петр Александрович Плетнев*

*109*

*Алексей Петрович Ермолов*

*121*

*Алексей Николаевич Оленин*

*145*

*Николай Дмитриевич Киселев*

*167*

*Примечания*

*184*

ИБ № 2453

Лариса Филипповна  
Керцелли

МИР ПУШКИНА  
В ЕГО РИСУНКАХ

Заведующая редакцией *Т. Митрофанова*

Редактор *Г. Егорова*

Художественный редактор *В. Мирошниченко*

Технический редактор *С. Устинова*

Корректоры *Т. Горячева, Е. Коротаева*

Сдано в набор 22.06.82.

Подписано к печати 5.07.83. Л98190.

Формат 84 × 100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага «Каубеларт», 115 г. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 31,97. Уч.-изд. л. 7,64.

Тираж 100 000. Заказ 2493. Цена 1 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени

издательство «Московский рабочий»,

101854, ГСП, Москва, Центр,

Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина

типография «Красный пролетарий»,

103473, Москва, И-473,

Краснопролетарская, 16.